

А.П. Чехов: АРИАДНА

На палубе парохода, шедшего из Одессы в Севастополь, какой-то господин, довольно красивый, с круглою бородкой, подошел ко мне, чтобы закурить, и сказал:

– Обратите внимание на этих немцев, что сидят около рубки. Когда сойдутся немцы или англичане, то говорят о ценах на шерсть, об урожае, о своих личных делах; но почему-то когда сходимся мы, русские, то говорим только о женщинах и высоких материях. Но главное – о женщинах.

Лицо этого господина было уже знакомо мне. Накануне мы возвращались в одном поезде из-за границы, и в Волочиске я видел, как он во время таможенного осмотра стоял вместе с дамой, своей спутницей, перед целою горой чемоданов и корзин, наполненных дамским платьем, и как он был смущен и подавлен, когда пришлось платить пошлину за какую-то шелковую тряпку, а его спутница протестовала и грозила кому-то пожаловаться; потом по пути в Одессу я видел, как он носил в дамское отделение то пирожки, то апельсины.

Было немножко сыро, слегка покачивало, и дамы ушли к себе в каюты. Господин с круглою бородкой сел со мной рядом и продолжал:

— Да, когда русские сходятся, то говорят только о высоких материях и женщинах. Мы так интеллигентны, так важны, что изрекаем одни истины и можем решать вопросы только высшего порядка. Русский актер не умеет шалить, он в водевиле играет глубокомысленно; так и мы: когда приходится говорить о пустяках, то мы трактуем их не иначе, как с высшей точки зрения. Это недостаток смелости, искренности и простоты. О женщинах же мы говорим так часто потому, мне кажется, что мы неудовлетворены. Мы слишком идеально смотрим на женщин и предъявляем требования, несоизмеримые с тем, что может дать действительность, мы получаем далеко не то, что хотим, и в результате неудовлетворенность, разбитые надежды, душевная боль, а что у кого болит, тот о том и говорит. Вам не скучно продолжать этот разговор?

– Нет, нисколько.

– В таком случае позвольте представиться, – сказал мой собеседник, слегка приподнимаясь: – Иван Ильич Шамохин, московский помещик некоторым образом... Вас же я хорошо знаю.

Он сел и продолжал, ласково и искренно глядя

А.П. Чехов: АРИАДНА

На палубе брода, који је ишао из Одесе за Севастополь, приђе ми да запали цигарету неки господин, прилично леп, с округлом брадицом, и рече:

– Обратите пажњу на ове Немце, што седе поред дизалице за једра. Кад се састану они или Енглези, онда разговарају о ценама вуне, о берићету и о својим личним пословима; али кад се састанемо однекуд ми, Руси, онда говоримо само о женама и узвишеним стварима. Али главно је – о женама.

Лице овог господина беше ми већ познато. Уочи тог дана враћали смо се истим возом из иностранства, и у Волочиску видех како је за време царинског прегледа стајао, заједно са дамом, својом сапутницом, пред читавим брдом кофера и корпи, пуних женских хаљина, и како је био збуњен и угучен кад је требало платити царину за некакву свилену крпу, док је његова сапутница протестовала и претила да ће се неком жалити; затим на путу за Одесу видех, како је уносио у женско одељење час пирожке час помаранце.

Беше мало влажно, лађа се овлаш љуљала и даме уђоше у кабине. Господин са округлом брадицом седе поре мене и настави:

– Да, кад се Руси састану, онда говоре само о узвишеним стварима и женама. Ми смо тако интеллигентни, тако важни, да изричемо само истине и у стању смо да решавамо само суптилна питања. Руски глумац не уме да се измотава, он и у водвиљу игра озбиљно; тако и ми: кад треба говорити о ситницама, онда их не третирамо другачије до с више тачке гледишта. То је недостатак одважности, искренности и простоте. Мени изгледа да о женама разговарамо тако често зато, што нисмо задовољни. Ми исувише идеално гледамо жене, захтевамо несразмерно више него што нам може дати стварност, далеко смо од тога да добијемо оно што хоћемо, и на крају јавља се незадовољство, разочарање и душевне патње, а шта кога боли о томе и говори. Неће вам бити досадно ако наставимо овај разговор?

– Не, ни најмање.

– Онда дозволите да се представим, – рече мој сапутник, дигавши се мало: – Иван Ильич Шамохин, такорећи московски спахија... А вас ја добро знам.

Он седе и настави, гледајући ме љубазно и ис-

мне в лице:

– Эти постоянные разговоры о женщинах какой-нибудь философ средней руки, вроде Макса Нордау, объяснил бы эротическим помешательством или тем, что мы крепостники и прочее, я же на это дело смотрю иначе. Повторяю: мы неудовлетворены, потому что мы идеалисты. Мы хотим, чтобы существа, которые рожают нас и наших детей, были выше нас, выше всего на свете. Когда мы молоды, то поэтизируем и боготворим тех, в кого влюбляемся; любовь и счастье у нас – синонимы. У нас в России брак не по любви презирается, чувственность смешна и внушает отвращение, и наибольшим успехом пользуются те романы и повести, в которых женщины красивы, поэтичны и возвышенны, и если русский человек издавна восторгается рафаэлевской мадонной или озабочен женской эмансипацией, то, уверяю вас, тут нет ничего напускного. Но беда вот в чем. Едва мы женимся или сходимся с женщиной, проходит каких-нибудь два-три года, как мы уже чувствуем себя разочарованными, обманутыми; сходимся с другими, и опять разочарование, опять ужас, и в конце концов убеждаемся, что женщины лживы, мелочны, суетны, несправедливы, неразвиты, жестоки, – одним словом, не только не выше, но даже неизмеримо ниже нас, мужчин. И нам, неудовлетворенным, обманутым, не остается ничего больше, как брюзжать и походя говорить о том, в чем мы так жестоко обманулись.

Пока Шамохин говорил, я заметил, что русский язык и русская обстановка доставляли ему большое удовольствие. Это оттого, вероятно, что за границей он сильно соскучился по родине. Хваля русских и приписывая им редкий идеализм, он не отзывался дурно об иностранцах, и это располагало в его пользу. Было также заметно, что на душе у него неладно и хочется ему говорить больше о себе самом, чем о женщинах, и что не миновать мне выслушать какую-нибудь длинную историю, похожую на исповедь.

И в самом деле, когда мы потребовали бутылку вина и выпили по стакану, он начал так:

– Помнится, в какой-то повести Вельтмана кто-то говорит: «Вот так история!» А другой ему отвечает: «Нет, это не история, а только интродукция в историю». Так и то, что я до сих пор говорил, есть только интродукция, мне же, собственно, хочется рассказать вам свой последний роман. Виноват, я еще раз спрошу: вам не скучно слушать?

Я сказал, что не скучно, и он продолжал:

– Действие происходит в Московской губернии,

креню право у лице:

– Ове сталне разговоры о женама некакав осредњи филозоф, као што је Макс Нордау, објаснио би еротичким лудилом, или тиме што смо феудални робови, и тако даље, а ја на ту ствар гледам другачије. Понављам: нисмо задовољни, зато што смо идеалисти. Ми хоћемо, да бића која рађају нас и нашу децу буду изнад нас, изнад свега на свету. Кад смо млади, опевамо у песмама и уздижемо до божанства оне у које се заљубимо; љубав и срећа код нас су – синоними. У Русији се презире брак који није из љубави, чулност је смешна и улива одвратност, и највећи успех постижу они романи, у којима су жене лепе, поетичне и узвишене, а што се Рус одавно одушевљава Рафаеловом Мадонном или што се брине о еманципацији жена, кажем вам, ту нема ничега намештеног. Али ево у чему је несрећа. Тек што се оженимо, или се вежемо са неком женом, прође једно две-три године, а ми смо већ разочарани и преварени; вежемо се са другом, и опет разочарање, опет ужас, и на крају крајева убеђени смо да су жене лажне, ситне, сујетне, неправедне, недорасле и опаке, – једном речју: не само да нису изнад, већ далеко испод нас, људи. А нама, незадовољеним и превареним не остаје ништа друго до да гунђамо, и уз то да причамо о ономе у шта смо се тако горко преварили.

Док је Шамохин говорио, приметих да су му руски језик и руска средина чинили велико задовољство. То по свој прилици беше зато, што се у иностранству јако зажелело домовине. Хвалећи Русе и сматрајући их за велике идеалисте, он није говорио рђаво о странцима, и то му је ишло у прилог. Јасно се такође видело да му у души није све у реду, и да би хтео више да говори о самом себи неголи о женама, као и да нећу избећи да чујем неку дугачку историју, сличну исповести.

И заиста, кад затражисмо боцу вина и исписмо по чашу, он поче овако:

– Сећам се, у једној Велтмановој причи неко говори: „Дакле, то је историја.“ А дурги му одговара: – „Не, то није историја, већ само увод у историју.“ Тако и то што сам досад говорио само је увод, а ја управо хоћу да вам испричам своју последњу авантуру. Извините, још вас једном питам: да вам није досадно да слушате?

Ја рекох да није досадно, и он настави.

– Радња се дешава у Московској губернији, у једном од њених северних срезова. Морам вам

в одном из ее северных уездов. Природа тут, должен я вам сказать, удивительная. Усадьба наша находится на высоком берегу быстрой речки, у так называемого быркового места, где вода шумит день и ночь; представьте же себе большой старый сад, уютные цветники, пасеку, огород, внизу река с кудрявым ивняком, который в большую росу кажется немножко матовым, точно седеет, а по ту сторону луг, за лугом на холме страшный, темный бор. В этом бору рыжики рождаются видимо-невидимо, и в самой чаще живут лоси. Я умру, заколотят меня в гроб, а всё мне, кажется, будут сниться ранние утра, когда, знаете, больно глазам от солнца, или чудные весенние вечера, когда в саду и за садом кричат соловьи и дергачи, а с деревни доносится гармоника, в доме играют на рояле, шумит река – одним словом, такая музыка, что хочется и плакать и громко петь. Запашка у нас небольшая, но выручают луга, которые вместе с лесом дают тысяч около двух ежегодно. Я у отца единственный сын, оба мы люди скромные, и этих денег, плюс еще отцовская пенсия, совершенно хватало. Первые три года по окончании университета я прожил в деревне, хозяйничал и всё ждал, что меня куда-нибудь выберут, главное же, я был сильно влюблен в одну необыкновенно красивую, обаятельную девушку. Была она сестрой моего соседа, помещика Котловича, прогоревшего барина, у которого в имени были ананасы, замечательные персики, громоотводы, фонтан посреди двора и в то же время ни копейки денег. Он ничего не делал, ничего не умел, был какой-то кволий, точно сделанный из пареной репы; лечил мужиков гомеопатией и занимался спиритизмом. Человек он, впрочем, был деликатный, мягкий и неглупый, но не лежит у меня душа к этим господам, которые беседуют с духами и лечат баб магнетизмом. Во-первых, у умственно не свободных людей всегда бывает путаница понятий и говорить с ними чрезвычайно трудно, и, во-вторых, обыкновенно никого они не любят, с женщинами не живут, а эта таинственность действует на впечатлительных людей неприятно. И наружность его мне не нравилась. Он был высок, толст, бел, с маленькой головой, с маленькими блестящими глазами, с белыми пухлыми пальцами. Он не жал вам руку, а мял. И всё, бывало, извиняется. Просит что-нибудь – извините, дает – тоже извините.

Что же касается его сестры, то это лицо совсем из другой оперы. Надо вам заметить, что в детстве и в юности я не был знаком с Котловичами, так как мой отец был профессором в Н. и мы долго жили в провинции, а когда я

реши, да же ту природа дивна. Наше се имање налази на високој обали брзе речице, код тако-зване брзице, где вода хучи и дању и ноћу; замислите велику стару башту, пријатне леје с цвећем, кошнице, градину, доле река с бујним врбаком, који за време велике росе изгледа зага-сит, као да седи, а с ону страну обале ливада, и иза ливаде, на брегу страшна мрачна шума. У тој шуми свуд расту млечике, а у најгушћем де-лу живе ирваси. Све ми се чини и кад умрем, и кад ме закуцају у мртвачки сандук, сањаћу рана јутра, кад, знате, боле очи од сунца, или опет дивне пролетње вечери кад у башти и иза баште певају славуји и вивци, док из села допире хар-моника, у кући свирају на клавиру, река хучи – једном речју: таква музика да се човек и смеје и плаче. Зиратне земље је мало, али нас спасавају ливаде, које заједно са шумом дају годишње око две хиљаде. Ја сам јединац у оца и ми смо обоји-ца скромни људи, а ти новци, плус очева пензи-ја, били су нам довољни. Пре три године, кад сврших универзитет, остадох у селу; ту сам се бавио економијом и стално сам чекао да ћу добити место, а што је главно, био сам заљуб-љен у једну необично лепу, чаробну девојку. Она је била сестра мога суседа, спахије Котло-вича, пропалог племића, који је имао на имању ананасе, ванредне брескве, громобране, водос-кок на средини дворишта и истовремено ни пре-бијене паре у цепу. Ништа није радио и ништа није знао, нит је смрдео нит мирисао, и као да је прављен од прокуване репе; лечио је сељаке хомеопатијом и бавио се спиритизмом. У оста-лом, он је био пажљив човек, мек и доста паме-тан, али ја не волим ту господу која говоре с ду-ховима и лече сељанке хипнозом. Пре свега, код људи чији ум није слободан, увек је збрка пој-мова, и разговарати с њима врло је тешко, а дру-го, они обично никога не воле, са женама не жи-ве и та тајанственост непријатно делује на осет-љиве људе. И његова спољашност ми се није до-падала. Био је висок, дебео, плав, мале главе, малих сјајних очију и с белим меким прстима. Он при руковању није стезао руку већ је месио. Стално се нешто извињавао. И кад тражи нешто – извињава се, и кад даје такође се – извињава.

Што се тиче његове сестре, то лице је из сас-вим друге опере. Ваља знати, да у детињству и младости нисам познавао Котловиче, јер је мој отац био професор универзитета у Н. и дуго смо живели у унутрашњости, а кад сам се с њима упознао, онда тој девојци беше пуних двадесет

познакомился с ними, то этой девушке было уже двадцать два года, и она давно успела и институт кончить, и пожить года два-три в Москве, с богатой теткой, которая вывозила ее в свет. Когда я познакомился и мне впервые пришлось говорить с ней, то меня прежде всего поразило ее редкое и красивое имя – Ариадна. Оно так шло к ней! Это была брюнетка, очень худая, очень тонкая, гибкая, стройная, чрезвычайно грациозная, с изящными, в высшей степени благородными чертами лица. У нее тоже блестели глаза, но у брата они блестели холодно и слащаво, как леденцы, в ее же взгляде светилась молодость, красивая, гордая. Она покорила меня в первый же день знакомства – и не могло быть иначе. Первые впечатления были так властны, что я до сих пор не расстаюсь с иллюзиями, мне всё еще хочется думать, что у природы, когда она творила эту девушку, был какой-то широкий, изумительный замысел. Голос Ариадны, ее шаги, шляпка и даже отпечатки ее ножек на песчаном берегу, где она удила пескарей, вызывали во мне радость, страстную жажду жизни. По прекрасному лицу и прекрасным формам я судил о душевной организации, и каждое слово Ариадны, каждая улыбка восхищали меня, подкупали и заставляли предполагать в ней возвышенную душу. Она была ласкова, разговорчива, весела, проста в обращении, поэтично верила в бога, поэтично рассуждала о смерти, и в ее душевном складе было такое богатство оттенков, что даже своим недостаткам она могла придавать какие-то особенные, милые свойства. Положим, понадобилась ей новая лошадь, а денег нет, – ну, что ж за беда? Можно продать что-нибудь или заложить, а если приказчик божится, что ничего нельзя ни продать, ни заложить, то можно содрать с флигелей железные крыши и спустить их на фабрику или в самую горячую пору погнать рабочих лошадей на базар и продать там за бесценок. Эти необузданные желания порой приводили в отчаяние всю усадьбу, но выражала она их с таким изяществом, что ей в конце концов всё прощалось и всё позволялось, как богине или жене Цезаря. Любовь моя была трогательна, и ее скоро все заметили: и мой отец, и соседи, и мужики. И все мне сочувствовали. Когда, случалось, я угощал рабочих водкой, то они кланялись и говорили:

– Дай бог вам жениться на котловичевой барышне.

И сама Ариадна знала, что я ее люблю. Она часто приезжала к нам верхом или на шарабане и проводила иногда целые дни со мною и с отцом. С

и две године и она же већ одавно била завршила институт и провела две-три године у Москви, код богате тетке која ју је изводила у друштва. Кад сам се упознао и кад сам првипут говорио са њом, пре свега изненадило ме је њено ретко и лепо име – Ариадна. Оно јој је тако лепо пристајало! Била је смеђа, врло мршава, врло витка, еластична, грациозна, с отменим и необично благим цртама лица. И њене су очи сијале, али су братовљеве сијале хладно и сладуњаво, као шећерлема, и у њеном погледу огледала се младост, лепа и горда. Она ме је освојила још од првог дана познанства – и другачије није могло бити. Први утисци беху тако снажни, да и данас живим у илузијама; непрестано бих хтео да мислим, како је природа, кад је њу стварала, имала некакву широку и дивну замисао. Ариаднин глас, њени кораци, шешир, па чак и отисци њених ногу на песковитој обали, где је пецала кркуше, изазивали су у мени радост и страстну жеђ за животом. По дивном лицу и дивним облицима закључивао сам о њеним душевним особинама, и свака Ариаднина реч, сваки осмех заносили су ме, мамили и приморавали да претпоставим у њој узвишену душу. Она је била љубазна, разговорна, весела, проста у опхођењу, поетично је веровала у Бога, поетично размишљала о смрти, и у њеном душевном склопу било је тако много прелива, да су чак и њени недостаци имали некакве нарочите, љупке дражи. Рецимо, затреба јој други коњ, а пара нема, – но, па шта са тим? Може се нешто продати или заложити, а ако се настојник имања почне клетити да нема шта ни да прода ни да заложити, онда се могу скинути с кућа гвоздени кровови и продати фабрици, или за време највеће врућине отерати коње за рад на пијац и продати их тамо у бесцење. Те су необуздане жеље доводиле цело имање до очајања, али их је она изражавала с таквом елеганцијом, да јој се на крају крајева, као богињи или Цезаревој жени, све праштало и дозвољавало. Моја љубав беше дирљива и њу су скоро сви приметили: и мој отац, и суседи и сељаци. И сви су саосећали са мном. Кад сам покатак чашћавао раднике ракијом, они се клањали и говорили:

– Да Бог да се оженили Котловичевом госпођицом.

И сама је Аријадна знала да је волим. Она нам је често долазила на коњу или колима и проводила понекад читаве дане са мном и оцем. С мојим старцем она се спријатељила, и он је чак на-

моим стариком она подружилась, и он даже научил ее кататься на велосипеде – это было его любимое развлечение. Помню, как однажды вечером они собрались кататься и я помогал ей сесть на велосипед, и в это время она была так хороша, что мне казалось, будто я, прикасаясь к ней, обжигал себе руки, я дрожал от восторга, и когда они оба, старик и она, красивые, стройные, покатались рядом по шоссе, встречная вороная лошадь, на которой ехал приказчик, бросилась в сторону, и мне показалось, что она бросилась оттого, что была тоже поражена красотой. Моя любовь, мое поклонение трогали Ариадну, умиляли ее, и ей страстно хотелось быть тоже очарованною, как я, и отвечать мне тоже любовью. Ведь это так поэтично!

Но любить по-настоящему, как я, она не могла, так как была холодна и уже достаточно испорчена. В ней уже сидел бес, который день и ночь шептал ей, что она очаровательна, божественна, и она, определенно не зная, для чего, собственно, она создана и для чего ей дана жизнь, воображала себя в будущем не иначе, как очень богатою и знатною, ей грезилась балы, скачки, ливреи, роскошная гостиная, свой salon и целый рой графов, князей, посланников, знаменитых художников и артистов, и всё это поклоняется ей и восхищается ее красотой и туалетами... Эта жажда власти и личных успехов и эти постоянные мысли всё в одном направлении расхолаживают людей, и Ариадна была холодна: и ко мне, и к природе, и к музыке. Время между тем шло, а посланников всё не было, Ариадна продолжала жить у своего брата спирита, дела становились всё хуже, так что уже ей не на что было покупать себе платья и шляпки и приходилось хитрить и изворачиваться, чтобы скрывать свою бедность.

Как нарочно, когда она еще жила в Москве у тетки, к ней сватался некий князь Мактуев, человек богатый, но совершенно ничтожный. Она отказала ему наотрез. Но теперь иногда ее мучил червь раскаяния: зачем отказала. Как наш мужик дует с отвращением на квас с тараканами и все-таки пьет, так и она безглаголиво морщилась при воспоминании о князе и все-таки говорила мне:

– Что ни говорите, а в титуле есть что-то необъяснимое, обаятельное...

Она мечтала о титуле, о блеске, но в то же время ей не хотелось упустить и меня. Как там ни мечтай о посланниках, а всё же сердце не камень и жаль бывает своей молодости. Ариадна старалась влюбиться, делала вид, что любит, и даже клялась

учио да тера велосипед, – то беше њена омиљена забава. Сећам се како су се једном, увече, спремали да терају и ја јој помогах да узјаше велосипед, а у том тренутку беше тако лепа, да ми је изгледало као да сам опекао руке од додира са њом, и дрхтао сам од узбуђења; а кад су се њих двоје, старац и она, лепи и грациозни возили друмом напоредо, вранац кога сретеше на коме је јашио настојник имања, при сусрету стукну у страну, и мени се учини да устукну зато што је и њега запрепастила лепота. Моја љубав и моје обожавање дирала су Ариадну, до нежности, и она је страшно желела да буде исто тако заљубљена као ја, и да ми исто тако одговори љубављу. Та то је тако поетично!

Али воleti у правом смислу, као ја, она није могла, јер је била хладна и већ прилично искварена. У њу је ушао ђаво, који јој је и дан и ноћ шапутао да је дражесна, божанствена, и она, не знајући тачно зашто је управо створена и зашто јој је дат живот, замишљала је себе у будућности не дркчије до као врло богату и отмену даму, и сањала је о баловима, тркама, ливрејама, раскошним собама за пријем, о своме салону и читавом роју грофова, кнезова, посланика, чувених уметника и глумаца, како је сви обожавају и диве се њеној лепоти и туалетама... Та жудња за влашћу и личним успесима и те сталне мисли, све у истом правцу, чине да се људи охладе, и Ариадна беше хладна: и према мени, и према природи и према музици. Међутим време је пролазило, а просци се никако нису јављали, Ариадна је и даље живела код свог брата спиритисте, послови су ишли све горе, тако да већ није имала зашта да купи хаљине и шешире и морала је да се претвара и извлачи, да би покрила своје немање.

Као за пакост, док је још у Москви живела, просио је неки кнез Мактујев, богат човек али сасвим безначајан. Она га је одлучно одбила, али је сад понекад мучи црв кајања: зашто га је одбила? Као што се наш сељак дури на квас са бубашвабама, па ипак пије, тако се и она с одвратношћу мрштила при разговору о кнезу, па ипак ми говорила:

– Ма шта рекли, али у титули има нечега привлачног, чаробног...

Она је сањала о титули, о сјају, али истовремено не хтеде ни мене да испусти. Ма колико сањала о просиоцима, ипак срце није камен и понекад је жао човеку своје младости. Ариадна се трудила да се заљуби, правила се да воли и

мене в любви. Но я человек нервный, чуткий; когда меня любят, то я чувствую это даже на расстоянии, без уверений и клятв, тут же веяло на меня холодом, и когда она говорила мне о любви, то мне казалось, что я слышу пение металлического соловья. Ариадна сама чувствовала, что у нее не хватает пороха, ей было досадно, и я не раз видел, как она плакала. А то, можете себе представить, она вдруг обняла меня порывисто и поцеловала, — это произошло вечером, на берегу, — и я видел по глазам, что она меня не любит, а обняла просто из любопытства, чтобы испытать себя: что, мол, из этого выйдет. И мне сделалось страшно. Я взял ее за руки и проговорил в отчаянии:

– Эти ласки без любви причиняют мне страдание!

– Какой вы... чудак! — сказала она с досадой и отошла.

По всей вероятности, прошел бы еще год-два, и я женился бы на ней, тем и кончилась бы эта история, но судьбе угодно было устроить наш роман по-иному. Случилось так, что на нашем горизонте появилась новая личность. К брату Ариадны приехал погостить его университетский товарищ Лубков, Михаил Иванович, милый человек, про которого кучера и лакеи говорили: «за-анятный господин!» Этот среднего роста, тощенький, плешивый, лицо, как у доброго буржуа, не интересное, но благообразное, бледное, с жесткими холеными усами, на шее гусяная кожа с пупырышками, большой кадык. Носил он ринсепез на широкой черной тесьме, картавил, не выговаривая ни *p*, ни *л*, так что, например, слово «сделал» у него выходило так: сдевав. Он был всегда весел, всё ему было смешно. Женился он как-то необыкновенно глупо, двадцати лет, получил в приданое два дома в Москве, под Девичьим, занялся ремонтом и постройкой бани, разорился в пух, и теперь его жена и четверо детей жили в «Восточных номерах», терпели нужду, и он должен был содержать их, — и это ему было смешно. Ему было 36 лет, а жене его уже 42, — и это тоже было смешно. Мать его, чванная, надутая особа с дворянскими претензиями, презирала его жену и жила отдельно с целою оравой собак и кошек, и он должен был выдавать ей особю по 75 рублей в месяц; и сам он был человек со вкусом, любил позавтракать в «Славянском Базаре» и пообедать в «Эрмитаже»; денег нужно было очень много, но дядя выдавал ему только по две тысячи в год, этого не хватало, и он по целым дням бегал по Москве, как говорится, высунув язык, и искал, где бы перехватить займы, — и это тоже было

чак ми се клела у љубав. Али ја сам човек нервозан и осетљив; кад ме воле, ја осећам чак и на одстојању, без уверавања и и заклетва, а овде је дувао у мене хладан ветар, и кад ми је говорила о љубави, чинило ми се да слушам певање плеханих славуја. Ариадна је и сама осећала да нема довољно барута, једила се и више пута је видех како плаче. И замислите, једном приликом, наједанпут ме страшно загрлила и пољубила — то се догодило увече, на обали — и ја сам по очима опазио да ме не воли, а загрлила ме просто из радозналости, да би сама осетила шта ће из тога испасти. Али мене обузе страх. Ја је узех за руке и рекох јој у очајању:

– Те милоште без љубави задају ми бол.

– Какав сте ви... настрани! — рече љутито и оде.

По свој прилици, прошла би још година две, и ја бих се њом оженио, и тиме би се завршио овај догађај, акли је судбина хтела да удеси другчије нашу авантуру. Наједанпут, у нашем друштву појави се ново лице. Ариаднином брату дође у госте његов друг с универзитета, Михаило Иванович Лубков, пријатан човек, за кога су кочијаши и лакеји говорили: „ве-е-лики господин!“ Тако, средњег раста, сувоњав, ћелав, лице као у доброго буржоа, неинтересантно али благо, бледо, с оштрим негованим брковима, на врату кожа као у гуске, с бубуљицама, и велика јабучица. Носио је цвикер са широким црним гајтаном, врскао је, не изговарајући ни *p* ни *л*, тако да је, на пример, реч „сладолед“ код њега прелазила у „свадовед“. Беше увек весео и све му је изгледало смешно. Оженио се некако глупо кад му је било двадесет година, добио је у мираз две куће у Москви испод Девичјег манастира, почео је да их оправља и да зида купатило и упропастио је све до паре, а сад су његова жена и четворо деце живели у „Источним меблираним собама“ и оскудевали, јер је требало да их он издржава — и то му је било смешно. Имао је тридесет и шест година, а његовој жени већ четрдесет две, — па и то му је такође било смешно. Његова мати, разметљива и надувена жена, с племићким претензијама, презирала је његову жену и живела одвојено са читавом гомилом паса и мачака, а он је морао да јој даје још и седамдесет пет рубаља месечно; па и он је био човек од укуса, волео је да доручкује у Славенском базару и да руча у Ермитажу; пара је требало много, а ујак му је давао само по две хиљаде годишње; новца није било довољно и он је по читаве дане јурио по

смешно. Приехал он к Котловичу, как говорил, для того, чтобы отдохнуть на лоне природы от семейной жизни. За обедом, за ужином, на прогулках он говорил нам про свою жену, про мать, про кредиторов, судебных приставов и смеялся над ними; смеялся над собой и уверял, что благодаря этой способности брать взаймы он приобрел много приятных знакомств. Смеялся он не переставая, и мы тоже смеялись. При нем и время мы стали проводить иначе. Я был склонен больше к тихим, так сказать, идиллическим удовольствиям; любил ужение рыбы, вечерние прогулки, собиранье грибов; Лубков же предпочитал пикники, ракеты, охоту с гончими. Он раза три в неделю затевал пикники, и Ариадна с серьезным, вдохновенным лицом записывала на бумажке устриц, шампанского, конфет и посылала меня в Москву, конечно, не спрашивая, есть ли у меня деньги. А на пикниках тосты, смех и опять жизнерадостные рассказы о том, как стара жена, какие у матери жирные собачки, какие милые люди кредиторы...

Лубков любил природу, но смотрел на нее как на нечто давно уже известное, притом по существу стоящее неизмеримо ниже его и созданное только для его удовольствия. Бывало, остановится перед каким-нибудь великолепным пейзажем и скажет: «Хорошо бы здесь чайку попить!» Однажды, увидев Ариадну, которая вдали шла с зонтиком, он кивнул на нее и сказал:

– Она худа, и это мне нравится. Я не люблю полных.

Меня это покорило. Я попросил его не выражаться так при мне о женщинах. Он посмотрел на меня с удивлением и сказал:

– Что же в том дурного, что я люблю худых и не люблю полных?

Я ничего ему не ответил. Потом как-то, будучи в отличном расположении и слегка навеселе, он сказал:

– Я заметил, вы Ариадне Григорьевне нравитесь. Удивляюсь вам, отчего вы зеваете.

Мне стало неловко от этих слов, и я, смущаясь, высказал ему свой взгляд на любовь и женщин.

– Не знаю, – вздохнул он. – По-моему, женщина есть женщина, мужчина есть мужчина. Пусть Ариадна Григорьевна, как вы говорите, поэтична и возвышенна, но это не значит, что она должна быть вне законов природы. Вы сами видите, она уже в таком возрасте, когда ей нужен муж или любовник. Я уважаю женщин не меньше вашего,

Москви и тражио где би узајмио – па и то му је такође било смешно. Дошао је код Котловича, како рече зато, да би се на крилу природе одморио од породичног живота. О ручку, вечери и шетњи, он нам је говорио о својој жени, мајци, повериоцима, судским извршитељима и смејао им се; смејао се и себи и уверавао, да је захваљујући тој својој навици да зајми, стекао много пријатних познанстава. Смејао се без престанка, па смо се и ми такође смејали. Уз њега и ми почесмо друкчије проводити време. Ја сам волео више мирна, такорећи, идилична задовољства; волео сам пецање, вечерње шетње и скупљање печурака; Лубков је претпостављао излете, ракетле и лов са псима. По трипут недељно правио је излете, а Ариадна с озбиљним и одушевљеним лицем бележила је на хартији поруцбине: остриге, шампањ и бонбоне и слала ме у Москву, наравно, не питајући имам ли новаца. Па онда на излетима здравице, смех и опет веселе приче о томе, како има стару жену, мајку са урањеним псима и како су дивни људи повериоци...

Лубков је волео природу, али је на њу гледао као на нешто већ одавно познато, уз то као на нешто што је у ствари стајало кудикамо испод њега и што је створено само ради његовог задовољства. Рецимо, посматра неки дивни пејсаж и каже: „Добро би било попити чај овде!“ Једном приликом видевши Ариадну, која је у даљини ишла са сунцобраном, махну главом на њу и рече:

– Мршава је, а то ми се свиђа. Не волим пуне.

Мене је то непријатно дирнуло. Замолих га да се не изражава тако у мом присуству о женама. Он ме погледа с чуђењем и рече:

– Шта има ту рђавога, што волим мршаве а не пуне?

Не одговорих му ништа. Затим једном приликом, будући одлично расположен и мало весео, он рече:

– Приметио сам, да се допадате Ариадни Григоријевној. Чудим вам се, зашто пропуштате прилику.

Мени беше незгодно од тих речи и, збуњен, изнесох му свој поглед на љубав и жене:

– Не знам, – уздахну он. – По мом мишљењу, жена је жена а човек је човек. Нека је Ариадна Григоријевна, како кажете, поетична и узвишена, али то не значи да она мора бити изван природних закона. Сами видите да је она већ у таквим годинама кад јој је потребан муж или љубавник. Ја поштујем жене ништа мање од вас,

но думаю, что известные отношения не исключают поэзии. Поэзия сама по себе, а любовник сам по себе. Всё равно, как в сельском хозяйстве: красота природы сама по себе, а доход с лесов и полей сам по себе.

Когда я и Ариадна удрили пескарей, Лубков лежал тут же на песке и подшучивал надо мной или учил меня, как жить.

– Удивляюсь, сударь, как это вы можете жить без романа! – говорил он. – Вы молоды, красивы, интересны, – одним словом, мужчина хоть куда, а живете по-монашески. Ох, уже эти мне старики в 28 лет! Я старше вас почти на десять лет, а кто из нас моложе? Ариадна Григорьевна, кто?

– Конечно, вы, – отвечала ему Ариадна.

И когда ему надоедало наше молчание и то внимание, с каким мы глядели на поплавки, он уходил в дом, а она говорила, глядя на меня сердито:

– В самом деле, вы не мужчина, а какая-то, прости господи, размазня. Мужчина должен увлекаться, безумствовать, делать ошибки, страдать! Женщина простит вам и дерзость и наглость, но она никогда не простит этой вашей рассудительности.

Она не на шутку сердилась и продолжала:

– Чтобы иметь успех, надо быть решительным и смелым. Лубков не так красив, как вы, но он интереснее вас и всегда будет иметь успех у женщин, потому что он не похож на вас, он мужчина...

И даже какое-то ожесточение слышалось в ее голосе. Однажды за ужином она, не обращаясь ко мне, стала говорить о том, что если бы она была женщиной, то не кисла бы в деревне, а поехала бы путешествовать, жила бы зимой где-нибудь за границей, например, в Италии. О, Италия! Тут отец мой невольно подлил масла в огонь; он долго рассказывал про Италию, как там хорошо, какая чудная природа, какие музеи! У Ариадны вдруг загорелось желание ехать в Италию. Она даже кулаком по столу ударила и глаза у ней засверкали: ехать!

И начались затем разговоры, как хорошо будет в Италии, – ах, Италия, ах да ох – и так каждый день, и когда Ариадна глядела мне через плечо, то по ее холодному и упрямому выражению я видел, что в своих мечтах она уже покорила Италию со всеми ее салонами, знатными иностранцами и туристами и что удержать ее уже невозможно. Я советовал обождать немного, отложить поездку на год-два, но она брезгливо морщилась и говорила:

– Вы рассудительны, как старая баба.

али мислим да извесни односи искључују поезију. Поезија је за себе, а љубавник је за себе. Исто као и у сеоском газдинству: лепота природе је за себе, а приход од шума и поља за себе.

Кад смо ја и Ариадна пецали кркуше, Лубков је лежао ту на песку и задиркивао ме, или ме учио како треба живети.

– Дивим вам се, господине, како можете живети без авантура! – говораше он. – Ви сте млади, лепи, интересантни, – једном речју: човек и по, а живите калуђерски. Ох, ти старци од двадесет осам лета! Ја сам старији од вас готово десет година, а ко је од нас млађи? Ариадна Георгијевна, ко?

– Дабогме ви, – одговори му Ариадна.

А кад му је досађивало наше ћутање и пажња, с којом смо гледали пловце, он је одлазио кући, а она је говорила, гледајући ме љутито:

– Заиста, ви нисте човек, него, Боже ме прости, некаква папазјанија. Човек треба да се забавља, да лудује, да греши, да пати. Жена ће вам опростити и дрскост и безобразлук, али никад ту вашу хладнокрвност.

Она се није тек онако љутила, па настави:

– Да човек има успеха треба да буде одлучан и смео. Лубков није тако леп као ви, али је ипак интересантнији од вас и увек ће имати више успеха код жена, јер не личи на вас, он је човек...

У њеном гласу осећала се чак и нека љутња. Једном за време вечере, не обраћајући се мени, поче говорити о томе, како кад би била човек не би чамила у селу већ би путовала, зими би живела негде у иностранству, например у Италији. О, Италија! Ту и нехотице мој отац доли зејтина на ватру; он је дуго причао о Италији, како је тамо лепо, како је дивна природа, какви су музеји. Ариадна се наједном одушевила да путује у Италију. Она чак удари песницом по столу и очи јој засијаше: треба путовати!

И отпочеше после тога разговора, како ће лепо бити у Италији, – ах Италија, па их, па ох – и тако свакидан, и кад је Ариадна гледала преко мога рамена, онда сам по њеном хладном и упорном изразу видео, да је у својим сновима већ освојила Италију са свима њеним салонима, отменим странцима и туристима и да је немогуће задржати је. Ја јој посаветовах да мало причека, да одложи пут за годину, две, али се она срдито мрштила, и говорила је:

– Ви сте хладни, као стара жена.

Лубков је био за пут, Он је говорио да то неће бити скупо и да ће он такође са задовољством

Лубков же был за поездку. Он говорил, что это обойдется очень дешево и что он тоже с удовольствием поедет в Италию и отдохнет там от семейной жизни. Я, каюсь, вел себя наивно, как гимназист. Не из ревности, а из предчувствия чего-то страшного, необычайного, я старался, когда было возможно, не оставлять их вдвоем, и они подшучивали надо мной; например, когда я входил, делали вид, что только что целовались и т. п.

Но вот в одно прекрасное утро является ко мне ее пухлый, белый брат спирт и выражает желание поговорить со мной наедине. Это был человек без воли; несмотря на воспитание и деликатность, он никак не мог удержаться, чтобы не прочесть чужого письма, если оно лежало перед ним на столе. И теперь в разговоре он признался, что нечаянно прочел письмо Лубкова к Ариадне.

– Из этого письма я узнал, что она в скором времени уезжает за границу. Милый друг, я очень взволнован! Объясните мне бога ради, я ничего не понимаю!

Когда он говорил это, то тяжело дышал, дышал мне прямо в лицо, и от него пахло вареной говядиной.

– Извините, я посвящаю вас в тайны этого письма, – продолжал он, – но вы друг Ариадны, она вас уважает! Быть может, вам известно что-нибудь. Она хочет уехать, но с кем? Господин Лубков тоже собирается с ней ехать. Извините, но это даже странно со стороны господина Лубкова. Он – женатый человек, имеет детей, а между тем объясняется в любви, пишет Ариадне «ты». Извините, но это странно!

Я похолодел, руки и ноги у меня онемели, и я почувствовал в груди боль, как будто положили туда трехугольный камень. Котлович в изнеможении опустился в кресло, и руки у него повисли, как плети.

– Что же я могу сделать? – спросил я.

– Внушить ей, убедить... Посудите: что ей Лубков? Пара ли он ей? О, боже, как это ужасно, как ужасно! – продолжал он, хватая себя за голову. – У нее такие чудесные партии, князь Мактуев и... и другие. Князь обожает ее и не дальше, как в среду на прошлой неделе, его покойный дед Иларион положительно, как дважды два, подтверждал, что Ариадна будет его женой. Положительно! Дед Иларион уже мертв, но это изумительно умный человек. Дух его мы вызываем каждый день.

После этого разговора я не спал всю ночь, хотел застрелиться. Утром я написал пять писем и все

похи у Италију, да се одмори од породичног живота. Ја сам се, на моју велику жалост, понашао наивно као гимназист. Не из љубоморе, већ предосећајући нешто страшно и необично, старао сам се, кадгод сам могао, да их не остављам насамо, а они су се измотавали са мном; кад уђем правили се, да тек што су се љубили, и томе слично.

Али једног лепог јутра дође ми њен дебелушнни, бели брат – спиритист и изрази жељу да са мном говори насамо. Он беше човек без воље; без обзира на васпитање и пристојност, он се никако није могао уздржати а да не прочита туђе писмо, кад лежи пред њим на столу. И сад у разговору признаде, да је нехотице прочитао писмо Лубкова Ариадни.

– Из тог писма сам дознао, да ће она ускоро отпутовати у иностранство. Драги пријатељу, много сам узнемирен. Ако Бога знате, објасните ми, ја ништа не разумем!

Кад је то говорио дисао је тешко, дувао ми је право у лице и од њега је мирисало на кувану говеђину.

– Извините, ја вас посвећујем у тајне тога писма, – настави он: – али ви сте пријатељ Ариаднин, она вас поштује! Можда је вама нешто познато. Она хоће да путује, али с ким? Господин Лубков се такође спрема с њом на пут. Извините, али то је чак смешно од стране господина Лубкова. Он је – ожењен, има децу, међутим изјављује љубав, пише Ариадни *ти*. Извините, то је смешно.

Ја се охладих, руке и ноге ми се одузеше и осетих бол у грудима. Као да су ми тамо ставили троугли камен. Котлович од изнемоглости седе у наслоњачу, а руке му се опустише као бичеви.

– Шта ја могу ту да учиним? – запитах ја.

– Да јој сугеришете, да је убедите... Реците сами: шта ће јој Лубков? О, Боже, како је то страшно, како је страшно! – настави он, хватајући се за главу. Она има тако дивне прилике, као Мактујев и ... други. Кнез је обожава, и ту скоро, најдаље у среду прошле недеље, његов покојни деда Иларион апсолутно, као два и два, тврдио да ће Ариадна бити његова жена. Апсолутно! Дед Иларион је већ мртав, али то је невероватно паметан човек. Његов дух ми дозивамо свакидан.

После тога разговора ја нисам спавао целе ноћи и хтедох се убити. Ујутру написах пет писама и све их поцепих на најситније делове, затим

изорвал в клочки, потом рыдал в риге, потом взял у отца денег и уехал на Кавказ не протившись.

Конечно, женщина есть женщина и мужчина есть мужчина, но неужели всё это так же просто в наше время, как было до потопа, и неужели я, культурный чело-век, одаренный сложной духовной организацией, должен объяснять свое сильное влечение к женщине только тем, что формы тела у нее иные, чем у меня? О, как бы это было ужасно! Мне хочется думать, что борющийся с природой человеческий гений боролся и с физической любовью, как с врагом, и что если он и не победил ее, то все же удалось ему опутать ее сеть иллюзий братства и любви; и для меня по крайней мере это уже не просто отправление моего животного организма, как у собаки или лягушки, а настоящая любовь, и каждое объятие бывает одухотворено чистым сердечным порывом и уважением к женщине. В самом деле, отвращение к животному инстинкту воспитывалось веками в сотнях поколений, оно унаследовано мною с кровью и составляет часть моего существа, и если я теперь поэтизирую любовь, то не так же ли это естественно и необходимо в наше время, как то, что мои ушные раковины неподвижны и что я не покрыт шерстью. Мне кажется, так мыслит большинство культурных людей, так как в настоящее время отсутствие в любви нравственного и поэтического элемента третируется уже, как явление атавизма; говорят, что оно есть симптом вырождения, многих помешательств. Правда, поэтизируя любовь, мы предполагаем в тех, кого любим, достоинства, каких у них часто не бывает, ну, а это служит для нас источником постоянных ошибок и постоянных страданий. Но уж лучше, по-моему, пусть будет так, то есть лучше страдать, чем успокаивать себя на том, что женщина есть женщина, а мужчина есть мужчина.

В Тифлисе я получил от отца письмо. Он писал, что Ариадна Григорьевна такого-то числа отбыла за границу с намерением прожить там всю зиму. Через месяц я вернулся домой. Была уже осень. Каждую неделю Ариадна присылала моему отцу письма на душистой бумаге, очень интересные, написанные прекрасным литературным языком. Я того мнения, что каждая женщина может быть писательницей. Ариадна очень подробно описывала, как ей нелегко было помириться с своей теткой и выпросить у нее на дорогу тысячу рублей и как долго она отыскивала в Москве одну свою дальнюю родственницу, старушку, чтоб уговорить ее ехать вместе. Это излишество

сам горко плакал у пушници за жито, после того уехал от отца новце и отпущив на Кавказ без здоровья.

Наравно, жена је жена а човек је човек, али зар је могуће да је све тако просто у наше доба као што је било до потопа, и зар ја, као културан човек, који има компликован духовни живот, треба да протумачим своју јаку наклоност према жени само тиме, што су облици њеног тела друкчији неголи моји? О, како би то било страшно! Ја бих хтео да мислим, да човечји геније који се борио с природом, борио се и с физичком љубављу као с непријатељем, па и мада је није победио ипак је успео да је умола мрежом илузија о братству и љубави; и бар за мене, то већ није просто одржавање личног живота, као код пса или жабе, већ права љубав, и сваки загрљај је одухотворен чистим срдачним заносом и поштовањем према жени и заиста одвратност према животном инстинкту била је гајена вековима кроз стотине поколења, ја сам је наследио с крвљу и она је саставни део мога бића, и што сад опевам љубав, зар то није исто онако природно и неопходно у наше време, као моје ушне шкољке непокретне и моје тело непокривено вуном. Изгледа ми да тако мисли већина културних људи, јер се у данашње време одсуство моралног и песничког елемента у љубави сматра као атавистичка појава; говори се да је то симптом дегенерације и многих лудила. Истина, опевајући љубав, ми претпостављамо код оних које волимо особине које они често немају, и то нам служи као извор сталних грешака и непрестаних патњи. По мом мишљењу, нека је и тако, тојест боље је патити неголи тешити се, да је жена жена а човек човек.

У Тифлису добио сам писмо од оца. Он ми је јављао да је Ариадна тога и тога датума отпущивала у иностранство, с намером да тамо остане сву зиму. После месец дана вратио сам се кући. Била је већ јесен. Сваке недеље слала је Ариадна моме оцу писма на миришљавој хартији, врло интересантна, писана дивним књижевним језиком. Ја сам мишљења, да свака жена може бити литератор. Ариадна је врло потанко описивала, како јој није било лако да се помири са својом тетком и да измоли од ње за пут хиљаду рубаља и како је дуго у Москви тражила једну своју рођаку, старицу, да би је наговорила да заједно путују. Ова претераност у појединостима већ је много мирисала на измишљање, и ја, наравно, сватих да није имала никакву сапутницу. Мало

подробностей очень уж отдавало сочиненностью, и я понял, конечно, что никакой у нее спутницы не было. Немного погодя и я получил от нее письмо, тоже душевное и литературное. Она писала, что соскучилась по мне, по моим красивым, умным, влюбленным глазам, дружески упрекала, что я гублю свою молодость, кисну в деревне в то время, как мог бы, подобно ей, жить в раю, под пальмами, вдыхать в себя аромат апельсиновых деревьев. И подписалась так: «брошенная вами Ариадна».

Потом дня через два другое письмо в том же роде и подпись: «забытая вами». У меня мутилось в голове. Любил я ее страстно, снилась она мне каждую ночь, а тут еще «брошенная», «забытая» – к чему это? для чего? – а тут еще деревенская скука, длинные вечера, тягучие мысли насчет Лубкова... Неизвестность мучила меня, отравляла мне дни в ночи, стало невыносимо. Я не выдержал и поехал.

Ариадна звала меня в Аббацию. Я приехал туда в ясный, теплый день после дождя, капли которого еще висели на деревьях, и остановился в том же громадном, похожем на казарму *dépendance'e*¹⁾, где жили Ариадна и Лубков. Их не было дома. Я отправился в здешний парк, побродил по аллеям, потом сел. Прошел мимо австрийский генерал, заложив руки назад, с такими же красными лампасами, какие носят наши генералы. Провезли в колясочке младенца, и колеса визжали по сырому песку. Прошел дряхлый старик с желтухой, толпа англичанок, ксендз, потом опять австрийский генерал. Поплелись к будке военные музыканты, только что приехавшие из Фиуме, со сверкающими трубами; заиграла музыка. Вы бывали когда-нибудь в Аббации? Это грязный славянский городишка с одною только улицей, которая воняет и по которой после дождя нельзя проходить без калош. Я так много и всякий раз с таким умилением читал про этот рай земной, что когда я потом, подсучив брюки, осторожно переходил через узкую улицу и от скуки покупал жесткие груши у старой бабы, которая, узнав во мне русского, говорила «читирь», «давадцать», и когда я в недоумении спрашивал себя, куда же мне, наконец, идти и что мне тут делать, и когда мне непременно встречались русские, обманутые так же, как я, то мне становилось досадно и стыдно.

Тут есть тихая бухта, по которой ходят пароходы и лодки с разноцветными парусами; отсюда видны и Фиуме, и далекие острова, покрытые лиловатою мглой, и это было бы картинно, если бы вид на бухту не загораживали

доцније добих и ја писмо, такође миришљаво и књижевно. Писала је да ме се ужелела, да се ужелела мојих лепих, паметних, заљубљених очију; пријатељски ме корила, што упропашћујем своју младост и чамим у селу, док би, попут ње, могао живети у рају, испод палми и удисати мирис поморанчиног дрвећа. А потписала се тако: „од вас остављена Ариадна“.

Затим кроз два дана стиже друго писмо у том духу и потпис: „од вас заборављена“. У глави ми се окретало. Ја сам је силно волео, сањао сам је сваке ноћи, а ту још „остављена“, „заборављена“ – зашто то? ради чега? – поред тога сеоска досада, дуге вечери, тешке мисли у вези са Лубковом... Неизвестност ме мичила, тровала ми дане и ноћи и постаде неиздржљиво. Не издржах и отпутовах.

Ариадна ме је звала у Абацију. Стигох тамо једног ведрога и топлога дана после кише, чије су капљице још биле на дрвећу, и одседох у један велики *dépendance*¹⁾ сличан касарни, где су живели Ариадна и Лубков. Они нису били код куће. Одох у тамошњи парк, прошетам се стазама а затим седнем. Поред мене прође аустријски генерал, с рукама на леђима и са танким црвеним лампасима какве носе наши генерали. На колицима су провезли дете и точкови су шкрипали по мокрому песку. Прође један изнемогли старац са жутицом, гомила Енглеца, католички свештеник и затим опет аустријски генерал. Одгегаше павиљону војни музиканти, који тек што су дошли са Ријеке, са својим сјајним трубама; музика поче да свира. Јесте ли били кадгод у Абацији? То је прљава словенска варошица, само с једном улицом, која заудара и по којој се после кише не може проћи без калача. Више пута и увек читао сам с великим задовољством о томе земаљском рају, тако да кад сам после задигнутих ногавица пажљиво пролазио кроз уску улицу и од досаде куповао тврде крушке код старе сељанке, која познавши да сам Рус изговараше: слично нама „четири“, „двадесет“, и кад се у недоумици питах, куда најзад да идем и шта ту да радим, и кад сам облигатно сретао Русе, преварене као и ја, онда ми би криво и застидео сам се.

Ту је тихи залив, по коме иду пароброди и чамци с разнобојним једрима; одатле се види Ријека, и далека острва покривена љубичастом маглом, и то би било живописно, да нису поглед на залив заграђивали хотели и њихове споредне зграде с ружном паланачком архитектуром, с

отели и их *dépendance*'ы²⁾ нелепой мещанской архитектуры, которыми застроили весь этот зеленый берег жадные торгаши, так что большею частью вы ничего не видите в раю, кроме окон, террас и площадок с белыми столиками и черными лакейскими фраками. Тут есть парк, какой вы найдете теперь во всяком заграничном курорте. И темная, неподвижная, молчаливая зелень пальм, и ярко-желтый песок на аллеях, и ярко-зеленые скамьи, и блеск ревуших солдатских труб, и красные лампы генерала — все это надоедает в десять минут. А между тем вы обязаны почему-то прожить здесь десять дней, десять недель! Таскаясь поневоле по этим курортам, я всё более убеждался, как неудобно и скучно живется сытым и богатым, как вяло и слабо воображение у них, как несмелы их вкусы и желания. И во сколько раз счастливее их те старые и молодые туристы, которые, не имея денег, чтобы жить в отелях, живут где придется, любят вид моря с высоты гор, лежат на зеленой траве, ходят пешком, видят близко леса, деревни, наблюдают обычаи страны, слышат ее песни, влюбляются в ее женщин...

Пока я сидел в парке, стало темнеть, и в сумерках показалась моя Ариадна, изящная и нарядная, как принцесса; за нею шел Лубков, одетый во всё новое и широкое, купленное, вероятно, в Вене.

— Что же вы сегдитесь? — говорил он. — Что я вам сдевав?

Увидев меня, она вскрикнула от радости, и если б это было не в парке, наверное, бросилась бы мне на шею; она крепко жала мне руки и смеялась, и я тоже смеялся и едва не плакал от волнения. Начались расспросы: как в деревне, что отец, видел ли я брата и проч. Она требовала, чтобы я смотрел ей в глаза, и спрашивала, помню ли я пескарей, наши маленькие ссоры, пикники...

— В сущности, как всё это было хорошо, — вздохнула она. — Но мы и здесь живем не скучно. У нас есть много знакомых, мой милый, мой хороший! Завтра я представлю вас здесь одному русскому семейству. Только, пожалуйста, купите себе другую шляпу. — Она оглядела меня и поморщилась. — Аббация не деревня, — сказала она.

— Тут надо было комильфо.

Потом мы пошли в ресторан. Ариадна всё время смеялась, шалила и называла меня милым, хорошим, умным и точно глазам своим не верила, что я с ней. Так просидели мы часов до одиннадцати и разошлись очень довольные и

кожими су изградили сву ту зелену обалу грам-жљиве ћифте, тако да већим делом ништа не видите у рају, осим прозора, тераса и испуста са белим сточићима и црним лакејским фраковима. Ту је и парк, какав ћете сада наћи у свакој стра-ној бањи. И тамно, непокретно, ћутљиво зеленило палми, и светложути песак на стазама, и светло-зелене клупе, и сјај прозуклих војничких тру-ба и црвени лампаси генералови — све се то до-сади за десет минута. А међутим, дужни сте од-некуд да останете овде десет дана, десет недеља. Мувајући се случајно по овим излетиштима, све више сам се убеђивао да незгодно и цицијашећи живе сити и богати, да им је трома и слаба уо-бразилја и да им нису смели укуси и жеље. А ко-лико су само срећнији од њих они стари и млади туристи, који, немајући пара да живе у хотели-ма, станују где било, наслађују се посматрањем мора с планинских висина, лежећи на зеленој трави и иду пешке да виде изблиза шуме и села, изучавају обичаје земље, слушају њене песме, заљубљују се у жене...

Док сам седео у парку почело је да се смркава и у сумраку појави се моја Ариадна, отмена и лепо обучена као принцеза; за њом је ишао Лубков, сав одевен у ново и широко одело, купљено по свој прилици у Бечу.

— Зашто се љутите? — рече. — Шта сам вам учинио?

Кад ме опази она врисну од радости, и да ту не беше парк, сигурно би ми се обесила о врат; чврсто ми је стезала руке и смејала се, а и ја сам се смејао и замало што нисам плакао од узбуђе-ња. Поче распитивање: како је у селу, како је отац, јесам ли видео брата итд. Захтевала је да јој гледам у очи и питала, да ли се сећам крку-ша, наших малих свађа, излета...

— У самој ствари, како је све то било лепо, — уздахну она. — Али нама и овде није досадно. Имамо много познаника, драги и мили мој! Сут-ра ћу вас овде представити једној руској поро-дици. Само, молим вас, купите други шешир. — Она ме измери и намршти се. — Абација није се-ло, — рече она.

— Ту треба бити комилфо²⁾.

Затим пређосмо у ресторан. Ариадна се све време смејала, правила несташлуке и називала ме драгим, милим, паметним и као да својим очима није веровала да сам ја са њом. Тако смо седели до једанаест часова и разишли се врло задовољни и вечером и једно другим. Идућег дана Ариадна ме представи руској породици:

ужином, и друг другом. На другой день Ариадна представила меня русскому семейству: «сын известного профессора, наш сосед по имению». Говорила она с этим семейством только об имениях и урожаях и при этом всё ссылалась на меня. Ей хотелось казаться очень богатой помещицей, и, право, это ей удавалось. Держалась она превосходно, как настоящая аристократка, какою, впрочем, она и была по происхождению.

– Но какова тетя! – сказала она вдруг, глядя на меня с улыбкой. – Мы с ней немножко поссорились, и она укатила в Меран.

Потом, когда мы гуляли с ней в парке, я спросил:

– Про какую это вы тетю говорили давеча? Что еще за тетя?

– Это ложь во спасение, – рассмеялась Ариадна.
– Они не должны знать, что я без спутницы.

После минутного молчания она прижалась ко мне и сказала: – Голубчик, милый, подружитесь с Лубковым! Он такой несчастный! Его мать и жена просто ужасны.

Она говорила Лубкову *вы* и, уходя спать, прощалась с ним так же, как со мной, «до завтра», и жили они в разных этажах, – это подавало мне надежду, что всё вздор и никакого романа у них нет, и, встречаясь с ним, я чувствовал себя легко. И когда он однажды попросил у меня триста рублей займа, то я дал ему их с большим удовольствием.

Каждый день мы гуляли и только гуляли. То бродили по парку, то ели, то пили. Каждый день разговоры с русским семейством. Я мало-помалу привык к тому, что если я войду в парк, то непременно встречу старика с желтухой, ксендза и австрийского генерала, который носил с собою колоду маленьких карт и, где только можно было, садился и раскладывал пасьянс, нервно подергивая плечами. И музыка играла всё одно и то же. Дома в деревне мне бывало стыдно от мужиков, когда я в будни ездил с компанией на пикник или удил рыбу, так и здесь мне было стыдно от лакеев, кучеров, встречных рабочих; мне всё казалось, что они глядели на меня и думали: «Почему ты ничего не делаешь?» И этот стыд я испытывал от утра до вечера, каждый день. Странное, неприятное, монотонное время; разнообразилось оно разве только тем, что Лубков брал у меня займа то сто, то пятьдесят гульденов, и от денег вдруг оживал, как морфинист от морфия, и начинал шумно смеяться над женой, над собой или над кредиторами.

„сын чувеног професора универзитета, наш сосед са имања“. С том породицом је говорила само о имању и летини, и уз то се непрестано позивала на мене. Хтела је да изгледа врло богата земљепоседница и, заиста, у томе је успевала. Држала се одлично, као права аристократкиња, што је, у осталом, и била по пореклу.

– А како је тетка? – рече она наједном, гледајући ме с осмехом. – Ја и она смо се мало посвађале и она је отперјала у Меран.

Затим, кад смо шетали у парку, ја је упитих:

– О каквој сте то тетке говорили малопре? Каква тетка?

– То је спасоносна лаж – насмеја се Ариадна.

– Они не треба да знају да сам без сапутнице.

После моменталног ћутања, она се приби уз мене и рече: – Голубе мили, спријатељите се с Лубковым. Он је тако несрећан! Његова мати и жена просто су страшне.

Она је говорила Лубкову *ви* и одлазећи на спавање опраштала се с њим као и са мном „до сутра“, а становали су на разним спратовима, – то ми је давало наду, да је све глупост и да међу њима не постоји никаква авантура, и при сусрету са њим није ми било тешко. И кад ми једном затражи триста рубаља на зајам, дадох му с великим задовољством.

Сваки дан смо шетали и само шетали. Час би лутали по парку, час јели, час пили. Сваки дан – разговори с руском породицом. Ја се мало навикох на то, да кад уђем у парк неизоставно сретнем старца са жутицом, католичког свештеника и аустријског генерала, који је носио са собом шпил малих карата, и гдегод је могао, седао и ређао пасијанс, тресући нервозно раменима. А музика је свирала све једно исто. Код куће, у селу, било ме је срамота од сељака, кад сам у радне дане ишао с друштвом на излет или кад сам пецао рибу, па ме тако и овде било срамота од лакеја, кочијаша и радника које сам сретао; чинило ми се да ме гледају и мисле: „Зашто ти ништа не радиш?“ И ту срамоту осећао сам од јутра до мрака, сваки дан. Чудновато, непријатно и једнолико време; оно је постојало разнолико можда једино кад је Лубков зајмио од мене, час сто час педесет гулдена, и због тога наједном постао живљи, као морфинист од морфијума, и почињао да се бучно смеје жени, себи или повериоцима.

Али отпочеше кише, настаде хладно време.

Но вот пошли дожди, стало холодно. Мы поехали в Италию, и я телеграфировал отцу, чтобы он, бога ради, прислал мне в Рим переводом рублей восемьсот. Мы останавливались в Венеции, в Болонье, во Флоренции и в каждом городе непременно попадали в дорогой отель, где с нас драли отдельно и за освещение, и за прислугу, и за отопление, и за хлеб к завтраку, и за право пообедать не в общей зале. Ели мы ужасно много. Утром нам подавали *café complet*³⁾. В час завтрак: мясо, рыба, какой-нибудь омлет, сыр, фрукты и вино. В шесть часов обед из восьми блюд, с длинными антрактами, в течение которых мы пили пиво и вино. В девятом часу чай. Перед полночью Ариадна объявляла, что она хочет есть, и требовала ветчины и яиц всмятку. С ней за компанию ели и мы. А в промежутках между едой мы бегали по музеям и выставкам, с постоянной мыслью, как бы не опоздать к обеду или завтраку. Я тосковал перед картинами, меня тянуло домой полежать, я утомлялся, искал глазами стула и лицемерно повторял за другими: «Какая прелесть! Сколько воздуху!»

Мы, как сытые удавы, обращали внимание только на блестящие предметы, окна магазинов гипнотизировали нас, и мы восхищались фальшивыми брошками и покупали массу ненужных, ничтожных вещей.

То же было и в Риме. Тут шел дождь, дул холодный ветер. После жирного завтрака мы поехали осматривать храм Петра и, благодаря нашей сытости и, быть может, дурной погоде, он не произвел на нас никакого впечатления, и мы, уличая друг друга в равнодушии к искусству, едва не поссорились.

Пришли от отца деньги. Я отправился получать их, помню, утром. Со мной пошел и Лубков.

– Настоящее не может быть полным и счастливым, когда есть прошлое, – сказал он. – У меня от прошлого остался на шею большой багаж. Впрочем, будь деньги, всё бы не беда, а то яко наг, яко благ... Верите ли, у меня осталось только восемь франков, – продолжал он, понижая голос, – между тем, я должен послать жене сто и матери столько же. Да и здесь надо жить. Ариадна, точно ребенок, не хочет войти в положение и сорит деньгами, как герцогиня. Для чего она вчера купила часы? И, скажите, для чего это нам продолжать разыгрывать из себя каких-то паинек? Ведь то, что она и я скрываем от прислуги и знакомых наши отношения, обходится нам в сутки

Ми смо отпутовали у Италију, и ја телеграфирал оцу, да ми, ако Бога зна, пошаље упутницом у Рим осамстотина рубаља. Зауоставили смо се у Венецији, Болонји, Флоренцији и у свакој вароши облигатно одседали у скуп хотел, где су нас гулили посебно за осветљење, послугу и огрев, као и за хлеб уз доручак, и за право да не ручамо у општој сали. Јели смо страшно много. Ујутру су нам давали *café complet*³⁾. У један сат доручак: месо, риба, неки омлет, воће и вино. У шест сати ручак од осам јела, с дугим чекањем између њих, за које време смо пили пиво и вино. У девет сати чај. Пред поноћ Аријадна би објављивала, да је гладна и поручивала је шунку и ровита јаја. С њом, ради друштва, јели смо и ми. А у размаку између обеда јурили би по музејима и изложбама, мислећи стално да не задоцнимо за ручак или доручак. Пред сликама сам туговао, вукло ме је кући, да се одморим; замарао сам се, очима сам тражио столице и лицемерно понављао иза других: „Баш је лепо! Изванредан ваздух!“

Као сити змијски цареви обраћали смо пажњу на сјајне предмете, изложи великих дућана као да су нас хипнотисали и ми смо се дивили лажним брошевицама и куповали многе непотребне и ништавне ствари.

Исто тако и у Риму. Тамо је падала киша и дувао хладан ветар. После обилног доручка поћосмо да разгледамо Петров храм и захваљујући нашој ситости, а можда и рђавом времену, он није направио на нас никакав утисак, и ми, окривљујући се међу собом да смо равнодушни према уметности, замало се не посвађасмо.

СТИГОШЕ ОД ОЦА НОВЦИ. Сећам се, одох ујутру да их примим. Са мном пође и Лубков.

– Садашњост не може бити потпуна и срећна, кад постоји прошлост, – рече он. – Код мене је остао из прошлости велики пртљаг. У осталом, да имам новца, све би добро било, а овако сам као наг, као благ... Верујете ли, да ми је остало само осам франака, – настави он, спуштајући глас: – међутим, морам послати жени сто и мајци исто толико па и овде треба живети. Ариадна, као дете, неће да уђе у ситуацију и траћи новце као да је херцегинја. Зашто је јуче купила сат? Реците, зашто да и даље изигравамо некакве поштењаковиће? Јер ово што кријемо од послуге и познаника наше односе, стаје нас дневно више од десет до петнаест франака, пошто ја станујем у засебној соби. А нашта то?

Као да ми се оштар камен окрете у грудима.

лишних 10 –15 франков, так как я занимаю отдельный номер. Для чего это?

Острый камень повернулся у меня в груди. Неизвестности уже не было, всё уже было ясно для меня, я весь похолодел, и тотчас же у меня явилось решение: не видеть их обоих, бежать от них, немедленно ехать домой...

– Сходиться с женщиной легко, – продолжал Лубков, — стоит только раздеть ее, а потом как всё это тяжело, какая ерунда!

Когда я считал полученные деньги, он сказал:

– Если вы не дадите мне тысячу франков займа, то я должен буду погибнуть. Эти ваши деньги для меня единственный ресурс.

Я дал ему, и он тотчас же оживился и стал смеяться над своим дядей, чудаком, который не мог сохранить в тайне от жены его адреса. Придя в отель, я уложился и заплатил по счету.

Оставалось проститься с Ариадной.

Я постучался к ней.

– *Entrez!*⁴⁾

В ее номере был утренний беспорядок: на столе тайная посуда, недоеденная булка, яичная скорлупа; сильный, удушающий запах духов. Постель была не убрана, и было очевидно, что на ней спали двое. Сама Ариадна недавно еще встала с постели и была теперь во фланелевой блузе, не причесанная.

Я поздоровался, потом молча посидел минуту, пока она старалась привести в порядок свои волосы, и спросил, дрожа всем телом:

– Зачем... зачем вы выписали меня сюда за границу?

По-видимому, она догадалась, о чем я думаю; она взяла меня за руку и сказала:

– Я хочу, чтобы вы были тут. Вы такой чистый!

Мне стало стыдно своего волнения, своей дрожи. А вдруг еще зарыдаю! Я вышел, не сказавши больше ни слова, и час спустя уже сидел в вагоне. Всю дорогу почему-то я воображал Ариадну беременной, и она была мне противна, и все женщины, которых я видел в вагонах и на станциях, казались мне почему-то беременными и были тоже противны и жалки. Я находился в положении того жадного, страстного корыстолюбца, который вдруг открыл бы, что все его червонцы фальшивы. Чистые, грациозные образы, которые так долго лелеяло мое воображение, подогреваемое любовью, мои планы, надежды, мои воспоминания, взгляды мои на любовь и женщину, – всё это теперь смеялось надо мной и показывало мне язык. Ариадна,

Неизвестности выше не беше, све ми постаде јасно, сав се охладих и одмах донесох одлуку: да их више не видим, да бежим од њих, одмах да путујем кући...

– Лако је – свезати се са женом, – настави Лубков: – треба је само свући, а после, како је све то тешко, права глупост!

Кад сам пребројавао добивене новце, он рече:

– Ако ми не дате хиљаду франака, на зајам, просто ћу пропасти. Те ваше паре су за мене једини излаз.

Ја му дадох и он одмах постаде живљи и поче се смејати свом настраном ујаку, који није могао да затаји од жене његову адресу. Вративши се у хотел, ја се запаковах и платих рачун.

Остало је да се опростим са Ариадном.

Куцнух јој.

– *Entrez!*⁴⁾

У њеној соби је био јутарњи хаос: на столу посуђе за чај, непоједена земичка, љуске од јаја; јак, загушљиви задах парфема. Кревет ненамештен и беше јасно да је у њему спавало двоје. Ариадна тек што је устала с постеле, и била је још у фланелској блузи и неочешљана.

Поздравих се, затим ћутке поседех тренутак, док се она трудила да доведе своју косу у ред, па запитах, дрхтећи целим телом:

– Зашто... зашто сте ме позвали у иностранство?

Као што ми се учини она се досети наша мислим, па ме ухвати за руку и рече:

– Хоћу да будете овде. Ви сте тако неискварени.

Беше ме срамота од своје срџе и свог дрхтања. Па тек још ако заплачем! Изађох, не рекавши ни речи, а кроз један сат већ сам седео у вагону. Целим путем сам однекуд замишљао Ариадну у другом стању, и беше ми одвратна, и све жене које видех у вагону и на станицама изгледаху ми однекуд у другом стању па ми и оне беху одвратне и бедне. Налазио сам се у положају оног грамжљивог и страшног лакомог човека на добит, који је одједном открио да су сви његови дукати лажни. Чисте, грациозне слике, које је тако дуго уљушкивала моја уобразиља загрејана љубављу, моји планови и наде, моје успомене, моји погледи на љубав и жену, – све се то сад смејало мени и ругало. С ужасом сам питао, како да Ариадна, та млада, необично лепа, интеллигентна девојка, сенаторова кћи, буде у вези с тако просечним и неинтересантним ништавилем?

спрашивал я с ужасом, эта молодая, замечательно красивая, интеллигентная девушка, дочь сенатора, в связи с таким заурядным, неинтересным пошляком? Но почему же ей не любить Лубкова? отвечал я себе. Чем он хуже меня? О, пусть она любит, кого ей угодно, но зачем лгать? Но с какой стати она должна быть откровенна со мной? И так далее, всё в таком роде, до одурения.

А в вагоне было холодно. Ехал я в первом классе, но там сидят по трое на одном диване, двойных рам нет, наружная дверь открывается прямо в купе, – и я чувствовал себя, как в колодках, стиснутым, брошенным, жалким, и ноги страшно зябли, и, в то же время, то и дело приходило на память, как обольстительна она была сегодня в своей блузе и с распущенными волосами, и такая сильная ревность вдруг овладевала мной, что я вскакивал от душевной боли, и соседи мои смотрели на меня с удивлением и даже страхом.

Дома я застал сугробы и двадцатиградусный мороз. Я люблю зиму, люблю, потому что в это время дома, даже в трескучие морозы, мне бывало особенно тепло. Приятно, надевши полушубок и валенки, в ясный морозный день делать что-нибудь в саду или на дворе, или читать у себя в жарко натопленной комнате, сидеть в кабинете отца перед камином, мыться в своей деревенской бане... Только вот если нет в доме матери, сестры или детей, то как-то жутко в зимние вечера, и кажутся они необыкновенно длинными и тихими. И чем теплее и уютнее, тем сильнее чувствуется это отсутствие. В ту зиму, когда я вернулся из-за границы, вечера были длинные-длинные, я сильно тосковал и от тоски не мог даже читать; днем еще туда-сюда, то снег в саду почистишь, то кур и телят покормишь, а по вечерам — хоть пропадай.

Прежде я не любил гостей, теперь же бывал им рад, так как знал, что непременно будет разговор об Ариадне. Часто приезжал спирт Котлович, чтобы поговорить о сестре, и иногда привозил с собою своего друга князя Мактуева, который был влюблен в Ариадну не менее моего. Сидеть в комнате Ариадны, перебирать клавиши ее пианино, смотреть в ее ноты, – для князя было уже потребностью, он не мог жить без этого, а дух деда Илариона продолжал предсказывать, что рано или поздно она будет его женой.

У нас обыкновенно князь сидел подолгу, этак от

Али зашто да не воли Лубкова? – одговарах себи. Шта је он гори од мене? О, нека воли кога-год хоће, али нашто лагати? Али нашто опет да буде отворена према мени? И тако даље, све у том духу, до несвести.

А у вагону је било хладно. Путовао сам првом класом, али су тамо седели по тројица на једном дивану, дуплих прозора нема, спољна врата су се отварала баш на купе-у, – и ја сам се осећао као у калупима, пригњечен, одбачен, бедан, и ноге су ми страшно мрзле, и истовремено, као заинат, падало ми је на памет како је заносна била данас у својој блузи са распуштеном косом, и наједном ме обузе тако јака љубомора да сам подскакивао од душевног бола, и моји суседи су ме гледали с чуђењем, па чак и страхују—ћи.

Код куће сам затекао сметове и мраз од двадесет степени испод нуле. Ја волим зиму, волим је због тога, што ми је у то време код куће, чак и за време јаким мразева, било особито топло. Пријатно је, кад се обуче кратка бундица, и високе чизме од сукна, кад се ведро зимског дана ради нешто у башти или у дворишту, или кад се чита код куће књига у јако загрејаној соби и седи у очевом кабинету крај камина, или кад се човек купа у сеоском купатилу... Али кад нису код куће мајка, сестре или деца, онда је некако непријатно зимских вечери, и оне изгледају необично дуге и тихе. И уколико је топлије и удобније, утолико се јаче осећа то осуство. Те зиме, кад сам се вратио из иностранства, вечери су биле врло дуге, а ја сам много туговао и од туге нисам могао чак ни да читам; дању још и које како, час очистим снег у башти, час нахраним кокошке и телад, а увече – смрт.

Раније нисам волео госте, сад сам им се радовао, јер сам знао да ће неизоставно бити разговора о Ариадни. Често је долазио спиритиста Котлович, да поразговара о сестри, а каткад је доводио са собом и свога пријатеља кнеза Мактујева, који ништа мање од мене не беше заљубљен у Ариадну. Да седи у Ариадниној соби, да пипка прстима клавијатуру њеног пијанина, да гледа у њене ноте – то је кнезу била већ потреба и он није могао живети без тога, док је дух деде Илариона и даље претсказивао да ће пре или после она бити његова жена.

Кнез је код нас обично дуго седео, отприлике од доручка до поноћи, и непрестано ћутао; ћутке, испијао је по две-три боце пива и само се покаткад, да би показао да и он учествује у раз-

завтрака до полуночи, и всё молчал; молча выпивал бутылки две-три пива и только изредка, чтобы показать, что он тоже участвует в разговоре, смеялся отрывистым, печальным, глуповатым смехом. Перед тем, как уехать домой, он всякий раз отводил меня в сторону и говорил вполголоса:

– Когда вы видели в последний раз Ариадну Григорьевну? Здорова ли она? Я думаю, ей там не скучно?

Наступила весна. Надо было ходить на тягу, потом сеять яровые и клевер. Было грустно, но уже по-весеннему: хотелось мириться с потерей. Работая в поле и слушая жаворонков, я спрашивал себя: не покончить ли уж сразу с этим вопросом личного счастья, не жениться ли мне без затей на простой крестьянской девушке? Как вдруг в самый разгар работ получаю письмо с итальянской маркой. И клевер, и пасека, и телята, и крестьянская девушка – всё разлетелось, как дым. На этот раз Ариадна писала, что она глубоко, бесконечно несчастна. Она упрекала меня, что я не протянул ей руку помощи, а взглянул на нее с высоты своей добродетели и покинул ее в минуту опасности. Всё это было написано крупным нервным почерком, с помарками и кляксами, и видно было, что она торопилась писать и страдала. В заключение она умоляла меня приехать и спасти ее.

Опять меня сорвало с якоря и понесло. Ариадна жила в Риме. Приехал я к ней поздно вечером и, когда сна увидела меня, то зарыдала и бросилась мне на шею. За зиму она нисколько не изменилась и была всё так же молода и прелестна. Мы вместе поужинали и потом до рассвета катались по Риму, и всё время она рассказывала мне про свое житье-бытьё. Я спросил, где Лубков.

– Не напоминайте мне про эту тварь! – крикнула она. – Он мне противен и гадок!

– Но ведь вы, кажется, любили его, – сказал я.

– Никогда! На первых порах он казался оригинальным и возбуждал жалость – вот и всё. Он нахален, берет женщину приступом, л это привлекательно. Но не будем говорить о нем. Это печальная страница моей жизни. Он уехал в Россию за деньгами – туда ему и дорога! Я сказала, чтоб он не смел возвращаться.

Она жила уже не в отеле, а на частной квартире из двух комнат, которые убрала по своему вкусу, холодно и роскошно. После того, как уехал Лубков, она задолжала своим знакомым около пяти тысяч франков, и мой приезд в самом деле был для нее спасением. Я рассчитывал увести ее в

говору, смеяо оштрим, жалосним и доста глумим смехом. Пре него што пође кући, увек ме водио у страну и говорио ми полугласно:

– Кад сте последњи пут видели Ариадну Григоријевну? Је ли здрава? Мислим, није јој тамо досадно?

Дође пролеће. Требало је ићи на литију, затим сејати јаре усева и детелину. Било је тужно, али већ на пролећни начин: требало је помирити се са губитком. Радећи у пољу и слушајући шеве, питао сам се: да ли да свршим одједном с овим питањем личне среће, да ли да се оженим без одлагања простом сељанком? Наједном, усред најживљих радова, стиге ми писмо с талијанском марком. И детелина, и кошнице, и телад и сељанка – све ишчезе као дим. Овог пута Ариадна је писала, да је дубоко и бескрајно несрећна. Корила ме, што јој нисам пружио руку помоћи, већ сам гледао на њу с висине своје врлине и напустио је у тренутку опасности. Све то беше написано крупним нервозним рукописом, с прецртавањима и мрљама, и видело се да је журила и патила. На крају ме је молила да дођем и да је спасем.

Опет ме је нешто откачило с котве и понело. Ариадна је живела у Риму. Допутовао сам јој доцкан увече, и кад ме видеа, зајеца и баци ми се у наручје. За време зиме није се ништа изменила и беше још увек млада и дивна. Заједно смо вечерали а затим смо се до зоре возили по Риму, и све време ми је причала о своме животу. Запитах је, где је Лубков.

– Не подсећајте ме на ту ствар, – викну она. – Он ми је одвратан и гадан.

– Али ви сте га, чини ми се, волели, – рекох.

– Никада. У прво време изгледао ми је оригиналан и изазивао ми сажаљење – и то је све. Он је безобразан, узима жену на јуриш, и то је оно што привлачи. Али нећемо о њему говорити. То је тужна страна мога живота. Он је отпутовао у Русију по новце – тако му и треба! Рекла сам, да се не сме враћати.

Она више није седела у хотелу већ у приватном стану, који је наместила по своме укусу, хладно и раскошно. Чим је отпутовао Лубков, задужила се код својих познаника око пет хиљада франака, и мој долазак је заиста био за њу спасење. Рачунао сам да је вратим у село, али нисам успео. Она је туговала за завичајем, али сећања о преживљеној сиротињи, оскудици и зарђали кров на братовој кући, изазивали су у њој одвратност и дрхтавицу, и кад сам јој пред-

деревню, но это мне не удалось. Она тосковала по родине, но воспоминания о пережитой бедности, о недостатках, о заржавленной крыше на доме брата вызывали в ней отвращение, дрожь, и когда я предлагал ей ехать домой, она судорожно сжимала мне руки и говорила:

– Нет, нет! Я там умру с тоски!

Затем любовь моя вступила в свой последний фазис, в свою последнюю четверть.

– Будьте прежним дусей, любите меня немножко, – говорила Ариадна, склоняясь ко мне. Вы угрюмы и рассудительны, боитесь отдаться порыву и всё думаете о последствиях, а это скучно. Ну, прошу вас, умоляю, будьте ласковы!.. Мой чистый, мой святой, мой милый, я вас так люблю!

Я стал ее любовником. По крайней мере, с месяц я был, как сумасшедший, испытывая один восторг. Держать в объятиях молодое, прекрасное тело, наслаждаться им, чувствовать всякий раз, пробудившись от сна, ее теплоту и вспоминать, что она тут, она, моя Ариадна, – о, к этому не легко привыкнуть! Но я все-таки привык и мало-помалу стал относиться к своему новому положению сознательно. Прежде всего я понял, что Ариадна, как и прежде, не любила меня. Но ей хотелось любить серьезно, она боялась одиночества, а главное я был молод, здоров, крепок, она же была чувственна, как все вообще холодные люди, – и мы оба делали вид, что сошлись по взаимной страстной любви. Затем я понял кое-что и другое.

Жили мы в Риме, в Неаполе, во Флоренции; поехали было в Париж, но там нам показалось холодно, и мы вернулись в Италию. Мы всюду рекомендовались мужем и женой, богатыми помещиками, с нами охотно знакомились, и Ариадна имела большой успех. Так как она брала уроки живописи, то ее называли художницей и, представьте, к ней это очень шло, хотя таланта не было ни малейшего. Спала она каждый день до двух, до трех часов; кофе пила и завтракала в постели. За обедом она съедала суп, лангуста, рыбу, мясо, спаржу, дичь, и потом, когда ложились, я подавал ей в постель чего-нибудь, например, ростбифа, и она съедала его с печальным, озабоченным выражением, а проснувшись ночью, кушала яблоки и апельсины.

Главным, так сказать, основным свойством этой женщины было изумительное лукавство. Она хитрила постоянно, каждую минуту, по-видимому, без всякой надобности, а как бы по инстинкту, по тем же побуждениям, по каким воробей чирикает

лагао да се вратимо она ми је грчевито стезала руке и говорила:

– Не, не! Тамо ћу умрети од чаме.

Затим је моја љубав ушла у последњу фазу, у своју последњу четврт.

– Будите као и пре срценце, волите ме мало, – говорила је Ариадна, нагињући се према мени. – Ви сте намрштени и хладни, бојите се да вас не обузме занос и непрестано мислите о последицама, а то је досадно. Али, молим вас, заклинјем вас, будите љубазни... Неискварени мој, светитељу мој, драги мој, ја вас тако волим!

Постао сам њен љубавник. Бар месец дана био сам као луд, осећајући само усхићење. Држати у наручју младо, дивно тело, наслађивати се њим, осећати увек после буђења њену топлоту и сетити се да је она ту, она, моја Ариадна, – о, на то се лако не привикава! Али ја се ипак навикох и мало помало почех свесно да се поносим према своме новом положају. Пре свега схватио сам, као и пре, да ме Ариадна није воле-ла. Али је хтела да воли озбиљно, јер се плашила самоће, а главно је да сам био млад, здрав и јак, а она чулна као уопште све хладне особе – и обоје смо се правили као да смо се спојили из узајамне страсне љубави. Затим сам схватио и друго штошта.

Живели смо у Руму, Неапољу и Флоренцији; отпутовасмо и у Париз, али нам се тамо учини хладно и вратисмо се у Италију. Свуда смо се представљали као муж и жена, богате спахије и с нама су се радо упознавали, и Ариадна је имала великог успеха. Пошто је узимала часове из сликарства, звали су је уметницом и, замислите, то јој је пристајало, ма да није имала нимало талента. Свакидан је спавала до два, до три сата; пила је кафу и доручковала у постели. За ручком је јала супу, морског рака, рибу, месо, шпаргле и дивљач, а затим кад је хтела да спава давао сам јој нешто у постели, например ростбиф, и она би га јела тужно, забринуто, а кад се ноћу пробуди, јела је јабуке и помаранце.

Главна, такорећи основна особина ове жене било је изванредно лукавство. Она је увек била препредена, сваког тренутка, по свој прилици, без икакве потребе, већ инстинктивно, из истих побуда из којих врабац цвркуће или бубашваба мрда брковима. Лукаво је поступала са мном, с лакејима, с вратарем, с трговцима по радњама, са познаницима; без измотавања и увијања није пролазио ниједан разговор и ниједан сусрет. Чим уђе у нашу собу неки човек – ма ко био,

или таракан шевелит усами. Она хитрила со мной, с лакеями, с портъе, с торговцами в магазинах, со знакомыми; без кривлянья и ломанья не обходился ни один разговор, ни одна встреча. Нужно было войти в наш номер мужчине, – кто бы он ни был, гарсон или барон, – как она меняла взгляд, выражение, голос, и даже контуры ее фигуры менялись. Если бы вы видели ее тогда хоть раз, то сказали бы, что более светских и более богатых людей, чем мы, нет во всей Италии. Ни одного художника и музыканта она не пропускала, чтобы не налгать ему всякого вздора по поводу его замечательного таланта.

– Вы такой талант! – говорила она сладко-певучим голосом. – С вами даже страшно. Я думаю, вы должны видеть людей насквозь.

И всё это для того, чтобы нравиться, иметь успех, быть обаятельной! Она просыпалась каждое утро с единственною мыслью: «нравиться!» И это было целью и смыслом ее жизни. Если бы я сказал ей, что на такой-то улице в таком-то доме живет человек, которому она не нравится, то это заставило бы ее серьезно страдать. Ей каждый день нужно было очаровывать, пленять, сводить с ума. То, что я был в ее власти и перед ее чарами обращался в совершенное ничтожество, доставляло ей то самое наслаждение, какое победители испытывали когда-то на турнирах. Моего унижения было недостаточно, и она еще по ночам, развалившись, как тигрица, не укрытая, – ей всегда бывало жарко, – читала письма, которые присылал ей Лубков; он умолял ее вернуться в Россию, иначе клялся обокрасть кого-нибудь или убить, чтобы только добыть денег и приехать к ней. Она ненавидела его, но его страстные, рабские письма волновали ее. О своих чарах она была необыкновенного мнения; ей казалось, что если бы где-нибудь в многолюдном собрании увидели, как хорошо она сложена и какого цвета у нее кожа, то она победила бы всю Италию, весь свет. Эти разговоры о сложении, о цвете кожи оскорбляли меня, и, заметив это, она, когда бывала сердита, чтобы досадить мне, говорила всякие пошлости и дразнила меня, и дошло даже до того, что однажды на даче у одной дамы она рассердилась и сказала мне:

– Если вы не перестанете надоедать мне вашими поучениями, то я сейчас же разденусь и голая лягу вот на эти цветы!

Часто, глядя, как она спит или ест, или старается придать своему взгляду наивное выражение, я думал: для чего же даны ей богом эта необыкновенная красота, грация, ум? Неужели

слуга или господин – она бы мењала изглед, израз, глас па чак и црте њеног лика би се мењале. Да сте је видели тада макар једном, рекли бисте да образованих и богатијих људи од нас нема у целој Италији. Није пропуштала ниједног уметника и музичара а да не измисли разне глупости поводом његовог изванредног таланта.

– Ви сте необичан таленат, – говорила би сладуњавим, распеваним гласом. – Од вас се чак плашим. Мислим, да ви скроз видите људе.

И све то ради тога, да би се допала, да би имала успеха и да би била дивна. Свако јутро будила се с једном мишљу: „допасти се“. И то беше циљ и смисао њеног живота. Кад бих јој рекао да у тој и тој улици седи човек коме се она не допада, направила би се да озбиљно пати. Њој је потребно било свакидан да неког очара, освоји, залуди. И то што сам био у њеној власти и пред њеним чарима претварао се у потпуно ништавило, причињавало јој је оно исто уживање које су победиоци осећали некад у двобојима. Моје јој понижење није било довољно, и она је још ноћу, опруживши се као тигрица, непокривена – њој је увек била врућина – читала писма која јој је слао Лубков; он ју је молио да се врати у Русију, у противном, клео се да ће некога опљачкати или убити, да би само добио новца и допутовао к њој. Она га је мрзела, али његова страсна, ропска писма узбуђивала су је. О својим чарима имала је високо мишљење; изгледало јој је, да кад би негде на великом скупу видели људи како је лепо развијена и какве је боје њена кожа, победила би сву Италију и цео свет. Ови разговори о развијености, о боји коже, вређали су ме, и кад је она то примећивала, љутила се, и да би ме насекирала, говорила је разне безобразлуке и дирала ме, па је чак и догле дошло, да се једном у летњиковцу код једне госпође наљутила и рекла ми:

– Ако не престанете да ми досађујете с вашим поукама, онда ћу се одмах свући и лећи гола овде, на ово цвеће.

Посматрајући је често како спава или једе, или како се труди да своје изгледу да наиван израз, мислио сам: зашто јој је Бог дао ту необичну лепоту, грациозност и памет. Није могуће само зато, да би се ваљала у постељи, јела и лагала, непрестано лагала. А да ли је била паметна? Плашила се три свеће, броја тринаест, страшно се бојала злих очију и рђавих снова, о слободној љубави и уопште о слободи говорила је као стара богомољка и уверавала да је Болеслав

для того только, чтобы валяться в постели, есть и лгать, лгать без конца? Да и была ли она умна? Она боялась трех свечей, тринадцатого числа, приходила в ужас от сглаза и дурных снов, о свободной любви и вообще свободе толковала, как старая богомолка, уверяла, что Болеслав Маркович лучше Тургенева. Но она была дьявольски хитра и остроумна, и в обществе умела казаться очень образованным, передовым человеком.

Ей ничего не стоило даже в веселую минуту оскорбить прислугу, убить насекомое; она любила бои быков, любила читать про убийства и сердилась, когда подсудимых оправдывали.

При той жизни, какую вели я и Ариадна, нам много нужно было денег. Бедный отец высылал мне свою пенсию, все свои доходишки, занимал для меня, где только можно было, и когда он однажды ответил мне «*non habeo*»⁵⁾, я послал ему отчаянную телеграмму, в которой умолял заложить имение. Немного погодя я попросил его взять где-нибудь денег под вторую закладную. То и другое он исполнил безропотно и выслал мне все деньги до копейки. А Ариадна презирала практику жизни, ей не было никакого дела до всего этого, и, когда я, бросая тысячи франков на удовлетворение ее безумных желаний, кричал, как старое дерево, она с легкой душой напевала «*Addio, bella Napoli*»⁶⁾.

Мало-помалу я охладел к ней и стал стыдиться нашей связи. Я не люблю беременности и родов, но теперь уже мечтал иногда о ребенке, который был бы хотя формальным оправданием этой нашей жизни. Чтобы не опротиветь себе окончательно, я стал посещать музеи и галереи и читать книжки, мало ел и бросил пить. Этак гоняешь себя на корде от утра до вечера, оно как будто на душе легче.

Надоел и я Ариадне. Кстати же люди, у которых она имела успех, были всё средние люди, посланников и салона по-прежнему не было, денег не хватало, и это оскорбляло ее и заставляло рыдать, и она объявила мне, наконец, что, пожалуй, она не прочь бы и в Россию. И вот мы едем. В последние месяцы перед отъездом она усердно переписывалась со своим братом, у нее, очевидно, какие-то тайные замыслы, а какие – бог весть. Мне уже надоело вникать в ее хитрости. Но мы едем не в деревню, а в Ялту, потом из Ялты на Кавказ. Теперь она может жить только в курортах, а если бы знали, до какой степени я ненавижу все эти курорты, как в них мне бывает душно и стыдно. Мне бы теперь в деревню! Мне бы теперь работать, добывать хлеб в поте лица, искупать

Маркевич боли од Тургенева. Али она је била лукава и оштроумна као ђаво, а у друштву је умела да изгледа као врло образована и напредна жена.

За њу ништа није било да у тренутку веселости увреди послугу или да убије инсекта; волела је борбу с биковима, волела је да чита о убиствима и љутила се кад су неког од окривљених ослобађали.

За такав живот којим смо живели ја и Ариадна требало је много новаца. Сиромах отац слао ми је своју пензију, све своје приходе, зајмио је због мене гдегод је могао, а кад ми је једном одговорио са „*non habeo*“⁵⁾, послао сам му очајан телеграм, у којем сам га молио да заложим имање. Мало доцније замолих га да узме негде паре на другу заложницу. И једно и друго испунио је без роптања и послао ми сав новац до последње копејке. А Ариадна је презирала практичан живот, све јој се то није тицало, и када сам, бацајући хаљадарке ради задовољења њених безумних жеља, крикао као старо дрво, она је лака срца певала „*Addio bella Napoli*“⁶⁾.

Мамо помало ја се охладих према њој и почех се стидети наше везе. Не волим трудноћу и порођај, али сам сад већ сањао понекад о детету, које би било макар формално оправдање овог нашег живота. Да не бих себи коначно огадио, почех посећивати музеје и галерије и читати књиге, мало јести и оставих пиће. И тако сам играо на конопцу од јутра до мрака, и као да ми на души беше лакше.

Досадио сам и ја Ариадни. Узгред буди речено, они код којих је имала успеха беху све осредњи људи, просиоца и салона као и пре не беше, новаца је недостајало и то ју је вређало и нагонило на сузе, па ми најзад изјави да готово не би имала против да се врати у Русију. И тако пођосмо. Последњих месеци пред одлазак, она се усрдно дописивала са својим братом, и, по свој прилици, имала је некакве тајне намере, а какве – Бог једини зна. Већ ми је досадило да се удубљујем у њена лукавства. Али ми не путујемо у село, већ у Јалту, а затим из Јалте на Кавказ. Она сада може да живи само у бањама, о, кад бисте знали колико ја мрзим све те бање, колико ми је у њима загушљиво и срамно! Хтео бих сад у село! Хтео бих да радим, да зарађујем хлеб у зноју лица свога, да искупим своје грешке. Сад осећам у себи сувишак енергије и изгледа ми, кад бих напрегао ту снагу, одужио бих имање за пет година. Али, као што видите, има

свои ошибки. Теперь я чувствую в себе избыток сил, и мне кажется, что, напрягши эти силы, я выкупил бы имение в пять лет. Но вот, как видите, осложнение. Здесь не заграница, а Россия матушка, приходится подумать о законном браке. Конечно, увлечение уже прошло, любви прежней нет и в помине, но, как бы ни было, я обязан на ней жениться.

Шамохин, взволнованный своим рассказом, и я спускались вниз и продолжали говорить о женщинах. Было уже поздно. Оказалось, что он и я помещались в одной каюте.

– Пока только в деревнях женщина не отстаёт от мужчины, – говорил Шамохин, – там она так же мыслит, чувствует и так же усердно борется с природой во имя культуры, как и мужчина. Городская же, буржуазная, интеллигентная женщина давно уже отстала и возвращается к своему первобытному состоянию, наполовину она уже человек-зверь, и благодаря ей очень многое, что было завоевано человеческим гением, уже потеряно; женщина мало-помалу исчезает, на её место садится первобытная самка. Эта отсталость интеллигентной женщины угрожает культуре серьёзной опасностью; в своём регрессивном движении она старается увлечь за собой мужчину и задерживает его движение вперед. Это несомненно.

Я спросил: зачем обобщать, зачем по одной Ариадне судить обо всех женщинах? Уже одно стремление женщин к образованию и равноправию полов, которое я понимаю как стремление к справедливости, само по себе исключает всякое предположение о регрессивном движении. Но Шамохин едва слушал меня и недоверчиво улыбался. Это был уже страстный, убежденный женоненавистник, и переубедить его было невозможно.

– Э, полноте! – перебил он. – Раз женщина видит во мне не человека, не равного себе, а самца и всю свою жизнь хлопочет только о том, чтобы понравиться мне, т. е. завладеть мной, то может ли тут быть речь о полноправии? Ох, не верьте им, они очень, очень хитры! Мы, мужчины, хлопочем насчет их свободы, но они вовсе не хотят этой свободы и только делают вид, что хотят. Ужасно хитрые, страшно хитрые!

Мне уже было скучно спорить и хотелось спать. Я повернулся лицом к стенке.

– Да-с, – слышал я, засыпая. – Да-с. А всему виной наше воспитание, батенька. В городах всё

тешкоћа. Овде није иностранство, већ мајка Русија, мора се мислити на законит брак, наравно, занос је већ прошао, од некадање љубави ни помена, али ма како било, ја сам дужан да се њоме оженим.

Шамохин, који беше узбуђен својом причом, и ја спустисмо се доле и продужисмо да говоримо о женама. Беше већ доцкан. испало је да имамо исту кабину.

– Засад само у селима жена не заостаје иза човека, – говораше Шамохин: – она тамо тако исто мисли, осећа и тако исто се усердно бори с природом у име културе, као и човек. Варошанка, буржујка, интеллигентна жена, одавно је већ заостала и враћа се у своје првобитно стање, и већ је, пола човек, пола звер, и, захваљујући њој, врло много, оно до чега се дошло човечијим генијем, већ је изгубљено; жена ишчезава мало помало и на њено место долази првобитна женка. Ова заосталост интеллигентне жене прети култури озбиљном опасношћу; у свом кретању уназад, она се труди да повуче за собом и човека, и задржава његово кретање напред. То је несумљиво.

Запитах га: зашто уопштавати, зашто по једној Ариадни судити о свима женама? Већ сама тежња женâ за образовањем и равноправност полова, коју разумем као тежњу за правдом, искључује сама собом сваку претпоставку о кретању уназад. Шамохин ме једва слушао и неповерљиво се смејао. Он је био већ ватрени и убеђени женомрзац, и изменити му убеђење било је немогуће.

– Е, баталите! – прекиде он. – Чим жена гледа у мени не човека равног себи, већ мужјака и целог свог живота се упиње да ми се допадне, тојест да ме освоји, онда може ли ту бити речи о равноправности? Ох, не верујте им, оне су веома, веома лукаве. Ми, људи, бринемо се о њиховој слободи, али оне никако неће ту слободу, и само се претварају да хоће. Ужасно су лукаве, страховито лукаве!

Мени беше већ досадно да се препирем и спавало ми се. Окретох се према зиду.

– Да, – зачух, док ме је сан хватао. – Да. А свему је, брате, криво наше васпитање. У градовима све васпитање и образовање жене своди се, у главном, на то, да од ње начине човека-звера, тојест да би се допала мужјаку и да би умела да победи тога мужјака. Да. – Шамохин уздахну. – Треба заједнички васпитавати и учити девојчи-

воспитание и образование женщины в своей главной сущности сводятся к тому, чтобы выработать из нее человека-зверя, т. е. чтобы она нравилась самцу и чтобы умела победить этого самца. Да-с, – Шамохин вздохнул. – Нужно, чтобы девочки воспитывались и учились вместе с мальчиками, чтобы те и другие были всегда вместе. Надо воспитывать женщину так, чтобы она умела, подобно мужчине, сознавать свою неправоту, а то она, по ее мнению, всегда права. Внушайте девочке с пеленок, что мужчина прежде всего не кавалер и не жених, а ее ближний, равный ей во всем. Приучайте ее логически мыслить, обобщать и не уверяйте ее, что ее мозг весит меньше мужского и что поэтому она может быть равнодушна к наукам, искусствам, вообще культурным задачам. Мальчишка-подмастерье, сапожник или маляр, тоже имеет мозг меньших размеров, чем взрослый мужчина, однако же участвует в общей борьбе за существование, работает, страдает. Надо также бросить эту манеру ссылаться на физиологию, на беременность и роды, так как, во-первых, женщина родит не каждый месяц; во-вторых, не все женщины рожают и, в-третьих, нормальная деревенская женщина работает в поле накануне родов – и ничего с ней не делается. Затем должно быть полнейшее равноправие в обыденной жизни. Если мужчина подает даме стул или поднимает оброненный платок, то пусть и она платит ему тем же. Я ничего не буду иметь против, если девушка из хорошего семейства поможет мне надеть пальто или подаст мне стакан воды...

Больше я ничего не слышал, так как уснул. На другой день утром, когда мы подходили к Севастополю, была неприятная сырая погода. Покачивало. Шамохин сидел со мной в рубке, о чем-то думал и молчал. Мужчины с поднятыми воротниками пальто и дамы с бледными, заспанными лицами, когда позвонили к чаю, стали спускаться вниз. Одна дама, молодая и очень красивая, та самая, которая в Волочиске сердилась на таможенных чиновников, остановилась перед Шамохиным и сказала ему с выражением капризного, избалованного ребенка:

– Жан, твою птичку укачало!

Потом, живя в Ялте, я видел, как эта красивая дама мчалась на иноходце, и за ней едва поспевали какие-то два офицера, и как она однажды утром, во фригийской шапочке и в фартучке, писала красками этюд, сидя на набережной, и большая толпа стояла поодаль и любовалась ею. Познакомился и я с ней. Она крепко-крепко пожалала мне руку и, глядя на меня с

це и дечаке, да би и једни и други били увек заједно. Треба васпитавати жену тако, да уме слично човеку, да увиди своју неправичност, иначе је она, по њеном мишљењу, увек у праву. Уливајте девојчици од пелена, да човек, пре свега, није ни кавалер ни младожења, већ њен ближњи, њој у свему раван. Учите је да логички мисли, да уопштава, и не уверавајте је да је њен мозак мањи по тежини од човековог, и да зато може бити равнодушна према наукама, уметностима и уопште према културним задаћама. Мушкарац, калфа, обућар или молер, такође има мозак мањих размера неголи одрастао човек, па ипак учествује у општој борби за опстанак, ради и мучи се. Треба такође одбацити тај манир позивања на физиологију, трудноћу и порођај, пошто, пре свега, жена не рађа сваког месеца; друго, не рађају све жене и треће, нормална селанка ради у пољу уочи порођаја, и ништа се с њом не догађа. Затим треба да је најпотпунија равноправност у свакодневном животу. Ако човек додаје дами столицу или подиже мараму са земље, онда нека му она исто тако узврати. Нећу имати ништа против, ако ми девојка из добре породице помогне да обучем капут или ми да чашу воде...

Више ништа нисам чуо, јер сам заспао. Идућег дана ујутру, кад смо се примицали Севастопољу, беше непријатно, влажно време. Брод се љуљао. Шамохин је са мном седео у дизалици, о нечему мислио и ћутао. Људи с подигнутим крагнама на капуцу и даме с бледим, сањивим лицима, кад су зазвонили за чај, почеше се спуштати доле. Једна дама, млада и врло лепа, она иста која се у Волочиску љутила на царинске чиновнике, заустави се испред Шамохина и рече му са изразом каприциозног, размаженог детета:

– Жане, твоја птичица је добила морску болест.

Затим, живећи у Јалти, видео сам како је та лепа дама јурила на коњу-тркачу, и једва су је стизала некаква два официра, и како је једном изјутра, у фригијској капици и кецељи, радила у бојама студију, седећи на обали, док ју је велика гомила света с уживањем гледала стојећи подале од ње. Упознао сам се с њом. Она ми чврсто стеже руку и, гледајући ме с усхићењем, захвали ми сладуњавим гласом на задовољству које јој причињаваху моји књижевни радови.

– Не верујте, – шапну ми Шамохин: – није ништа ваше читала.

Некако пред вече, док сам шетао поред

восхищением, поблагодарила сладко-певучим голосом за то удовольствие, какое я доставляю ей своими сочинениями.

– Не верьте, – шепнул мне Шамохин, – она ничего вашего не читала.

Как-то перед вечером, когда я гулял по набережной, мне встретился Шамохин; в руках у него были большие свертки с закусками и фруктами.

– Князь Мактуев здесь! – сказал он радостно. – Вчера приехал с ее братом-спиритом. Теперь я понимаю, о чем она тогда переписывалась с ним! Господи, – продолжал он, глядя на небо и прижимая свертки к груди, – если у нее наладится с князем, то ведь это значит свобода, я могу уехать тогда в деревню, к отцу!

И он побежал дальше.

– Я начинаю веровать в духов! — крикнул он мне, оглядываясь. – Дух деда Илариона, кажется, напророчил правду! О, если бы!

На другой день после этой встречи я выехал из Ялты, и чем кончился роман Шамохина – мне неизвестно.

-
- 1) *здесь* – строении (*франц.*).
 - 2) пристройки (*франц.*).
 - 3) кофе с молоком, булки и масло (*франц.*).
 - 4) Войдите! (*франц.*)
 - 5) не имею (*лат.*).
 - 6) «Прощай, прекрасный Неаполь» (*итал.*).

обале, сретох се са Шамохином; у рукама је носио велике пакете разних јела и воћа.

– Овде је кнез Мактујев! – рече радосно. – Јуче је допутовао с њеним братом спиритистом. Сад разумем о чему се она дописивала с њим! Господе, – настави он, гледајући у небо и притискајући пакете на груди: – ако удеси с кнезом, онда то значи слободу и тада могу отићи оцу на село.

И он отрча даље.

– Починѐм да верујем у духове, – викну ми, осврћући се. – Изгледа да је дух деде Илариона прорекао истину. О, кад би се обистинило!

Идућег дана после овог сусрета, отпутовао сам из Јалте, а како се свршила Шамохинова авантура – није ми познато.

-
- 1) Деапанданс. – Пр. прев.
 - 2) Као што треба. – Пр. прев.
 - 3) Бела кафа са земичком са маслацем. –Пр. прев.
 - 4) Уђите! – Пр. прев.
 - 5) Немам. –Пр. прев.
 - 6) Збогом лепи Неапољу. – Пр. прев